Наталия
Роскина

ЧЕТЫРЕ ГЛАВЫ

YMCA-PRESS

Наталия Роскина

ЧЕТЫРЕ ГЛАВЫ

Из литературных воспоминаний

YMCA-PRESS
11, rue de la Montagne-Ste-Geneviève, Paris 5

Глава первая

АННА АХМАТОВА

Я познакомилась с Анной Андреевной летом 1945 года. Мне тогда было семнадцать лет, и это определило характер нашего знакомства. Я просто позвонила ей по телефону, сказала, что я московская студентка, приехала в Ленинград на каникулы, пишу стихи, мечтаю показать их ей. "Пожалуйста, приходите. Завтра, в четыре часа". И она положила трубку, не спросив меня, знаю ли я ее адрес. Жила она в то время на Фонтанке, в Шереметьевском дворце, и считала, видимо, что это всем известно.

Разумеется, я никогда не забуду минуту, когда она открыла дверь и на шаг отступила назад, давая мне пройти. Как раз в том году она перестала носить челку и зачесала волосы назад, сделав на затылке обыкновенный пучок седоватых волос. Не было уже и худобы, известной мне по портретам. Я увидела полнеющую старую женщину, одетую в дешевый халат и домашние туфли на босу ногу. Но ее статность, скульптурность ее позы (в согнутой руке она держала папиросу, ее красота и непередаваемое благородство всего ее облика) – все это меня потрясло больше, чем я могла

предположить. (Позднее как-то она мне сказала, что скульпторы не хотели ее лепить, им было неинтересно – все уже предварила природа, все было сделано).

Жила Ахматова тогда – даже не скажешь: бедно. Бедность – это мало чего-то, то есть что-то, у нее же не было ничего. В пустой комнате стояло небольшое старое бюро и железная кровать, покрытая плохим одеялом. Видно было, что кровать жесткая, одеяло холодное. Готовность любить, с которой я переступила этот порог, смешалась у меня с безумной тоской, с ощущением близости катастрофы... Ахматова предложила мне сесть на единственный стул, сама легла на кровать, закинув руки за голову (ее любимая поза), и сказала: "Читайте стихи". Теперь, конечно, странно вспомнить, что я стала читать, ничуть не смущаясь. Она одобрительно кивала. Впоследствии я узнала, что Ахматова не в силах была обидеть кого бы то ни было дурным отзывом. Она рассказывала: "Если мне не нравится, я молчу... или говорю что-нибудь вялое, человеческое...". В тот раз она не молчала, но позднее, уже через несколько лет, мои стихи ей справедливо наскучили и она стала произносить протяжно: "Ну что ж...". Тогда я и перестала писать в рифму.

Анна Андреевна приветливо расспросила меня, кто преподает в Московском университете, как учат. Из моих учителей ей было знакомо лишь имя Н.Л.Бродского. В дверь позвонили, она послала меня открыть и крикнула вдогонку: "Спросите – кто, если разбойник, не открывайте". Я возилась с незнакомым замком. Это пришла дворничиха – вынести мусор. Когда я вернулась, Анна Андреевна спросила: "Хотите, я вам прочту свою поэму?"

Хочу ли я!

"Поэму без героя" тогда еще мало кто знал, а я и вовсе о ней не слыхала. Анна Андреевна прочла мне тот старый, "ташкентский" вариант, который впоследствии много правился*. Читала она по тетрадке – и я впервые увидела ее косой, округлый своеобразный почерк, строчки, загибающиеся кверху, как вьющееся растение, приподнимаемое светом солнца. В пустой комнате ее глубокий грудной голос звучал огромно, как в церкви. Поэма произвела на меня потрясающее впечатление, и это впечатление живо до сих пор.

Разумеется, я просила Анну Андреевну дать мне переписать поэму. Она не согласилась, однако с интересом рас-

---

* У меня есть экземпляр поэмы, машинопись с правкой Ахматовой, подаренный ею 20 февраля 1958 года. На обложке значится: "Окончательный текст, отменяющий *все* предыдущие. Ахматова. 13 февраля 1958. Москва". В третью часть вместо многоточия рукою автора вставлено шестистишие. Есть и другие поправки. По сравнению с ташкентским текстом тут уже много переменено, и с моей точки зрения, к худшему. Ахматова очень уж прислушивалась к мнению знакомых. Сказала ей, допустим, редакторша Игнатова, что нельзя, мол, сказать: "Неглядевших на казнь очей". На казнь-де не глядят. И вот Ахматова уже правит: "Наших прежних, ясных очей". По современной идиотской текстологии так и останется навеки. Но шестистишие, дивно найденная форма, в моем экземпляре еще не расшатано окончательно, как в последнем прижизненном издании, в "Беге времени".

Есть поправки на подаренных ею книгах. В сборнике "Стихотворения" одна страница заклеена и вклеена другая, исписанная ее рукою – другой вариант.

спрашивала: "Что вы об этом думаете?" Я сказала, что ничего подобного она еще не писала, что я сегодня познакомилась не только с ней, но и с новым для меня великим русским поэтом.

Напряженно выговаривая лестные слова, которые трудно сказать в лицо, я и представления не имела, как нужно было ей слышать именно это. Ведь для многих она оставалась автором стихов, которые сама она любила напевать на мотив "ухарь-купец": "Слава тебе, безысходная боль, умер вчера сероглазый король". В то время (и, кстати, до конца дней) на поэме были сосредоточены все интересы Ахматовой, все линии ее личной поэтической жизни. "Томашевский сказал мне, что о моей поэме он мог бы написать книгу". Томашевский – это было для нее много, очень много, она чрезвычайно ценила пушкинистов и честью для себя считала быть причисленной к их клану. Мое мнение интересовало ее совсем с другой стороны. Я была для нее девочка военных лет, студенточка советская. Меня клонило туда-сюда, я увлекалась стихами своих друзей по литературным студиям. И моя мгновенная реакция на поэму, как на сочинение, ставящее Ахматову в совсем иной ранг поэтов, была ей очень важна. Все это я осознала, конечно, много позже, а тогда просто была пьяна от волнения и счастья.

Вскоре общие друзья передали мне отзывы Ахматовой: "Независимая девочка, не то, что некоторые – сразу от двери начинают ползти по ковру" и "непохоже на стихи молодых литературоведов, вроде раннего Эйхенбаума". Я запретила им рассказывать заранее обо мне, так что Ахматова начала так: "Вчера была у меня одна московская

студентка". В то время это было для нее большой редкостью. Тут уж они меня назвали своей. "Пусть девочка приходит", – сказала им Ахматова на прощанье. И я стала бывать у нее часто, два-три раза в неделю, весь июль и август. Я звонила ей по телефону, она коротко говорила "можете придти" (по телефону она вообще всегда была односложной, ненавидела его, по-моему), я шла в ее Фонтанный дворец, в эту такую недворцовую комнату (а жила я у родных, в жуткой коммунальной квартире, черной, закопченной от двадцатипятилетнего социализма, провонявшей керосинками и захламленной, – где в комнатах как раз стояла старинная мебель и висела полуцарская люстра). Анна Андреевна всегда спрашивала меня, писала ли я что-то новое, только теперь я в состоянии оценить абсолютную непогрешимость ее вежливости, а тогда я думала, что ей в самом деле интересно. Критика ее всегда была лаконична и локально-точна. Потом она читала мне свое, еще неизвестное, и всегда добавляла: "Не запоминайте. Я знаю, у вас память дьявольская. Забудьте". Заканчивая стихотворение, она – голосом – как бы отодвигала его. Потом мы шли на кухню, Анна Андреевна накладывала в глубокие тарелки вареную картошку и кислую капусту – не помню, чтобы хоть раз у нее было что-то еще. Однажды на кухне я увидела патлатую молодую женщину, обращавшуюся к Анне Андреевне на ты и очень грубо*. Анна Андреевна тихо бросила ей: "Свин-

---

* Это была Ирина Николаевна Пунина, дочь бывшего мужа Ахматовой. Тогда я думала, что это соседка по коммунальной квартире.

тус". Мы вернулись в комнату и ели картошку с капустой, она полулежа на кровати, я – держа тарелку на коленях. Боже, как неуютна была ее жизнь! Часами молчал телефон, неделями никто не приходил...

Ахматова страдала от одиночества. Я поняла это, когда сама пожаловалась ей на одиночество. Я рано осталась сиротой и с шестнадцати лет жила в Москве одна, в комнате, где когда-то жил мой отец. "Есть уединение и одиночество, – сказала она. – Уединения ищут, одиночества бегут. Ужасно, когда с твоей комнатой никто не связан, никто в ней не дышит, никто не ждет твоего возвращения".

Для самой Ахматовой в ее уединении и одиночестве был неожиданным тот взрыв любви и восхищения, которым ее одарили москвичи на знаменитом вечере в Колонном зале в 1946 году, когда она читала стихи вместе с Пастернаком. Вечер этот описан многими мемуаристами (Н.Я.Мандельштам во "Второй книге", И.Г.Эренбургом). Я, конечно, была в числе тех, кто неистово аплодировал ей, требуя продолжать чтение. Я даже послала ей записочку, она легко нашла меня глазами и, улыбнувшись, отрицательно покачала головой. Ахматова была в черном платье, на плечах – белая с кистями шаль. Держалась она на эстраде великолепно, однако заметна была скованность и какая-то тревога. Наконец, ей пришлось встать: "Наизусть я своих стихов не знаю, а с собой у меня больше нет". Залу было ясно, что это вынужденные слова. Овации продолжали греметь; проницательная, отнюдь не наивная политически Ахматова сразу же почувствовала, что они не сулят ей добра. Этот вечер вскоре оказался для нее роковым.

Оживление наступило в доме Ахматовой – ненадолго – когда вернулся с войны, из Берлина ее сын Лев Николаевич Гумилев. Однажды Анна Андреевна открыла мне дверь в дорогом японском халате с драконом. Она сказала: "Вот, сын подарил. Из Германии привез". Ведь в сущности ей всегда так хотелось простых женских радостей. Очень была она в тот день веселая. Но совместная жизнь матери и сына не пошла гладко. Чувствовалось, что в их глубокой взаимной любви есть трещина. С какой-то болезненной резкостью Лев Николаевич говорил: "Мама, ты ничего в этом не понимаешь". "Ну конечно, в твое время этого в школе не проходили". Однажды, расспрашивая меня о Московском университете, он задал мне какой-то вопрос по общему языкознанию, на который я не сумела ответить, и мрачно пробурчал: "Чему только вас учат". Анна Андреевна сказала: "Лева, прекрати. Не смей обижать девочку".

А за себя она никогда не умела вступиться.

Я огорчалась, жаловалась на Леву своим родным, они отвечали: "Да ведь это для тебя она Ахматова, а для него – мама. Совсем другое дело". Но нет, здесь была застарелая мучительная драма ее трагического материнства и его при ней сиротства. Этой драмы мне приоткрылся лишь узенький краешек.

Иногда Анна Андреевна предлагала пойти погулять. Ленинград знала она изумительно, в архитектуре была как дома (говорила: "Люблю архитектуру больше всех искусств"). Знала автора каждого здания, знала историю его перестроек, – с той культурой знания и той дотошностью, которую она, при кажущемся отсутствии педантства, вносила во все, чем увлекалась. Она любила подвести меня к кра-

сивому месту каким-то новым ходом, чтобы оно открылось внезапно, любила обращать мое внимание на всякие тонкости зодчества и трогательно радовалась моему восхищению.

И теперь каждое из увиденных с нею мест кричит мне о том, что ее больше не существует, огорошивает меня пустотой и отчаянием... Как однажды она указала на башенку кунсткамеры: "Правда, прелесть?" – "Да, – сказала я и добавила, – ведь так приятно с вами соглашаться". Она улыбнулась лукаво: "Ну, почему же. Вы могли бы, например, сказать: эта башенка могла бы быть чу-у-у-у-ть-чуть пошире". Ярко помню одну нашу прогулку к Инженерному замку, где ей нравились красиво и обдуманно посаженные цветы. Еще хлеб давали по карточкам (да и все прочие продукты), в Японии еще все бурлило, а ленинградцы послеблокадные украшали свой измученный город, и это ее восхищало. Она была оживлена и несколько раз повторила: "Какие молодцы! Ах, какие молодцы!" Был чудесный солнечный день, и весь облик Ахматовой был так гармонически близок архитектурному пейзажу, и так весело она щурилась на солнце... Боже, как полны ею мои семнадцать лет! А потом я десять лет не видела ее веселой.

За тебя я заплатила чистоганом –
Ровно десять лет ходила под наганом...

Впоследствии Анна Андреевна часто рассказывала всем, как она узнала о касающемся ее и Зощенко постановлении ЦК. Этот рассказ, повторяясь, звучал все менее страшно. Однако, когда я слышала его впервые, мороз подирал по

коже. Газет Анна Андреевна не получала, радио у нее не было. Она ничего не знала! Кто-то позвонил и спросил, как она себя чувствует. Позвонил и еще, и еще кто-то. Не чуя беды и лишь слегка недоумевая, она ровно отвечала всем: все хорошо, благодарю вас, все в порядке, благодарю вас... И выйдя зачем-то на улицу, она прочла, встав на цыпочки, поверх чужих голов, газету с докладом Жданова.

Жизнь для нее остановилась. Когда я позвонила ей, приехав в Ленинград через десять дней, она ответила, что чувствует себя, спасибо, хорошо, но что повидаться со мной не может. Голос ее был мертвым.

Два месяца после этого я знала об Анне Андреевне только одно – что ее не арестовали. В свой следующий приезд я была более настойчива, сказала, что очень прошу ее со мной встретиться. Ахматова назначила мне свидание у Русского музея. С ужасным волнением я ждала ее на холодной скамейке, в плохую ноябрьскую ленинградскую погоду. Ахматова стала мне говорить, что с ней нельзя встречаться, что все ее отношения контролируются, за ней следят, в комнате – подслушивают; что общение с нею может иметь для меня самые страшные последствия. Нас обеих знобило. Анна Андреевна смотрела в сторону, не на меня. Но как только я почувствовала, что она просто за меня боится, я сразу повеселела и ответила ей, что я совсем и не думаю ни о чем таком и думать не хочу. Анна Андреевна продолжала говорить о необходимости быть осторожной, но я уже поняла, что это говорится по долгу, а не по сердцу. На самом деле она была мне рада, вдруг перестала это скрывать и, взглянув на меня с нежной жалостью, сказала тихо: "Миленький!" Страшный круг обреченности был то-

гда, и в этом круге был весь этот огромный прекрасный город, и честь наша, и правда, и я сама была в этом круге, но я все это забыла, радуясь, что она сидит рядом со мной и что я тоже ей дорога.

Провожая Анну Андреевну, я взяла с нее слово, что она не будет меня отталкивать. Но когда мы стали прощаться у Фонтанного дома, на ее лицо вернулась каменная маска, и она едва кивнула мне, проходя в парадное.

Это был не обычный дом, а здание Главсевморпути. У входа сидел вахтер и спрашивал пропуск. Гостям Ахматовой он постоянно делал замечание – почему засиделся или что-то в этом духе. Сама она была обязана предъявлять удостоверение с фотографией. В графе – профессия – было написано: "жилец". Совсем незадолго до смерти она вынула его из сумочки и показала мне со смехом – помните? Я не сумела засмеяться. На меня глянула жуткая фотография тех лет, испуганные широко раскрытые глаза.

Неуют холодной ахматовской комнаты принял тюремный характер. Анна Андреевна дома почти ничего не говорила, а только все показывала на потолок. Однажды, придя домой, она обнаружила на подушке и на полу куски известки и уверилась, что в потолок вставлен микрофон. Обычно мы бесприютно гуляли по безлюдным местам, обмениваясь короткими репликами. Длящийся кошмар разрешался лишь в худшую сторону. Осенью 1949 года был арестован Лев Николаевич Гумилев. Об этом своем горе Анна Андреевна никогда со мной не говорила. Одно только: я приехала в Ленинград, пришла к ней, ничего не зная, спросила запросто: "А где Лева?" – она ответила: "Лева арестован".

Звук этих слов – полувскрик, полустон, полушепот – до сих пор стоит у меня в ушах.

Это был третий арест его – первый раз – в начале тридцатых годов, второй раз – в конце тридцатых, с приговором к расстрелу... Такова была судьба Анны Андреевны, каждое горе приходило к ней не один раз, а повторяясь, дважды, трижды... Моя тетка, мамина сестра, была замужем за техническим директором Ленинградского металлического завода М.И.Гринбергом, его фамилия приходилась на ту же букву, что и Гумилев, и в 1938 году тетя частенько встречала Ахматову в многочасовых очередях, описанных в "Реквиеме". Алфавит этот страшный всех выстроил по-своему. В сорок девятом уже не было этих очередей, но все было, пожалуй, еще безнадежней, еще окончательней...

После постановления ЦК и исключения из Союза писателей Ахматову лишили продовольственных карточек. (Примерно тогда же в нашей стране отменили смертную казнь... Зачем? Можно ведь по-другому замучить...) Она получала крошечную пенсию, на которую жить было невозможно. Друзья организовали тайный фонд помощи Ахматовой. По тем временам это было истинным героизмом. Анна Андреевна рассказала мне об этом через много лет, грустно добавив: "Они покупали мне апельсины и шоколад, как больной, а я была просто голодная".

Летом 1950 года Анна Андреевна попросила меня отвезти ее в Москву. Она плохо переносила дорогу и уже не ездила без провожатых. Как я теперь понимаю, главной целью ее поездки были хлопоты о сыне. Перед отъездом она так нервничала, что не разрешала мне отойти ни на шаг, и я даже не попрощалась с теми, кто меня провожал. Всю

ночь Анна Андреевна и, конечно, я с нею, не смыкала глаз. Мы тихо разговаривали под храп незнакомых попутчиков. Дорога из Петербурга в Москву навела ее на воспоминания о Блоке, об их случайной встрече. Дословно помню ее слова: "Блок был немного странен. Всегда все, что он говорил, было чуть сдвинуто в сторону. Однажды я ехала из Киева, поезд остановился на станции Подсолнечная. Я вышла в тамбур покурить и вдруг прямо перед собою увидела на платформе Блока. Он спросил: "С кем вы едете?" Я очень удивилась, ответила: "Я еду одна" – и поезд тронулся. А в последний раз я видела его на пушкинском вечере, знаете, этот знаменитый вечер незадолго до смерти Блока. Все мы были голодные, замерзшие, одетые во что попало. Блок ко мне подошел и спросил: "А где же испанская шаль?"

Еще, помню, в ту ночь мы говорили о Фрейде, которого я только что прочитала, и она сказала, что весь пресловутый комплект Эдипа – это просто ревность наследника, буржуазная психология.

Анна Андреевна была удивительной собеседницей – терпеливой, расположенной; не помню, чтоб она хоть раз дала мне почувствовать мое невежество, а ведь только теперь мне ясно, сколько раз она могла его заметить!

Счастливым и одновременно ужасным даром судьбы видится мне эта ночь с Анной Андреевной в грязном жестком вагоне, слабый рассвет, легкое опьянение от бессонницы... Нервность ее еще усилилась от одного предотъездного эпизода. В те прекрасные времена билеты на поезд достать было невозможно, и я, как дочь погибшего на фронте писателя, получила их на свое имя в Литфонде. Там я краем

уха слышала, что в Москву едет Флит, но так как его имя для меня связано было лишь со смешными пародиями, то я не обратила на это никакого внимания, и только мимоходом, уже на перроне, сказала Анне Андреевне, что с нами в купе едет Флит. Она побелела и коротко сказала: "Я с Флитом не поеду". Задавать Ахматовой вопросы не полагалось, да и весь вид ее в этот момент не допускал вопроса, однако что прикажете мне делать? Мы стоим на перроне с чемоданами, в Москву послана телеграмма, Ахматова стоит неприступная, и я вообще ничего не понимаю. К счастью, на помощь пришел журналист Евгений Воробьев, который как-то помог мне обменять билеты, и все утряслось. Вскоре имя Флита стало мне известно уже не в связи с сатирой, а в связи с кое-какими одиозными функциями его в литературной среде.

На вокзале Анну Андреевну встретила Нина Антоновна Ольшевская, жена писателя Ардова, красивая и приветливая женщина. Она сказала, что знала и любила моего отца, пригласила меня приходить. "Да-да, она придет", – ответила за меня Анна Андреевна. С тех пор я стала бывать у Анны Андреевны в Москве, на Ордынке. А иногда ей хотелось выехать из дому самой, и она выражала желание притти ко мне.

Как-то, сидя в ее маленькой комнатке на Ордынке, я упомянула о том, что написала цикл стихов, посвященных ей. Она не сказала ничего в ответ, не предложила, как обычно, прочесть. Через несколько дней она позвонила мне по телефону, сказала, что хочет ко мне приехать. Вошла в комнату, села в кресло и повелительно, но очень деловито произнесла: "Давайте-ка ваши стихи". Я послушно подала

тетрадку. Она стала читать стихи про себя, скорбно покачивая головой. Потом сказала: "Дайте пепельницу". Я не поняла, так как она в эту минуту не курила. "Пепельница какая-нибудь есть в этом доме?" Я указала на большую стеклянную пепельницу. Со словами "Об *этих* стихах говорить мы не будем", она порвала тетрадь на четыре части, положила в пепельницу, вынула из сумочки спички и подожгла. Я следила за нею в изумлении. Хоть я и смотрела на нашу жизнь открытыми глазами, но, видно, слишком молода была и совсем не осознавала той опасности, которая могла мне грозить за такие стихи. Стекло треснуло, и, вздрогнув от резкого звука, Анна Андреевна произнесла: "Я надеюсь, что больше никогда вы не сделаете ничего подобного".

Эти стихи совершенно забыты мною, ни строчки не помню, – в одном говорилось о муках богородицы, о ее мужестве, остальные – даже и сюжета не припомню.

Еще помолчав, Анна Андреевна сказала: "Тут, кажется, рядом есть парикмахерская. Может быть, сделаем маникюр?"

Она любила слово "Апокалипсис", часто его употребляла. "Это что-то апокалиптическое". И вспоминая этот мрачный день пятидесятого года, я все время чувствую на своих губах это слово. "Апокалипсис" – все смешалось, страшное и обычное, ужас стал чем-то вечным, и трудно поверить сейчас, что это были мы, что мы в этом жили.

У Анны Андреевны были поразительно красивые руки, и она любила еще украшать их – маникюром, перстнем. Именно тогда я подумала, что когда она закуривает, это

целый ритуал, так прекрасны движения ее рук. И вот мы пошли делать маникюр в соседнюю парикмахерскую, всего навсего... Когда мы вышли из подъезда, Анна Андреевна обратила мое внимание на стоявших там людей, мужчину и женщину. "Как вы считаете, это слежка? Вы не заметили, они между собою разговаривали или нет?" Она думала, что если они молчат – значит, приставленные, если беседуют – может и нет, может просто бесприютная парочка. Не знаю, считать это тонким психологическим наблюдением или же наивным. Но мы долго и нервно обсуждали этот вопрос, хотя шли мы делать маникюр, да и в стихах, которые сожгла Анна Андреевна, не было решительно ничего преступного – я только выражала в них свое восхищение ее мужеством.

Много позднее, в более уютные времена, я написала еще одно стихотворение, посвященное Ахматовой. Выслушав его, она сказала: "Хм... Ничего..." Прошло, кажется, года два. Однажды она указала мне на лист бумаги, лежавший на столике, и сказала: "У вас было, помнится, стихотворение мне. Прошу". Я смутилась, так как к этому времени уже вполне поняла, что писать стихи мне не следует. Но ослушаться, конечно, не посмела. Вот это стихотворение:

На Неве

Наспех брошенные блики,
Львов естественный оскал,
Раньше здесь поэт великий
Одиночества искал.

И теперь по свету бродит,
Прячется среди камней
Солнце, теплое к природе
И холодное ко мне.

Взяв из моих рук этот лист бумаги, Анна Андреевна, не без некоторой иронии, вложила его в папку и показала мне, что там лежат посвященные ей стихи, в том числе и стихи великих. Я увидела автографы Блока, Гумилева и, видимо, залилась краской, потому что Анна Андреевна уже откровенно рассмеялась. Эта папка озаглавлена ею "В ста зеркалах", хранится она в Публичной библиотеке в Ленинграде.

*

* *

Анна Андреевна стала подолгу жить в Москве, по несколько месяцев. Ее здесь держали хлопоты о сыне, да и еще чем-то легче было все-таки в Москве, отчего ведь в конце концов большинство ленинградцев в Москву переехали. К тому же жить с Ардовыми ей было всегда удобно, домработница готовила, мальчики – три сына Нины Антоновны – охотно исполняли поручения Анны Андреевны. Войдя в этот дом, можно было почувствовать, что она там любима и желанна. Но вот деталь ее тамошнего быта: ни на одну минуту она не расставалась со своей сумочкой, не выпускала ее из рук, даже во время еды держала подмышкой, а когда ложилась – под подушкой. Нигде, никогда, ни минуты она не была спокойна – и это ведь десятилетиями!

(Впоследствии, когда ее оперировали по поводу аппендицита и врач похвалил ее выдержку, она ответила: "Советская власть мне закалила нервы"). У Ардовых всегда бы-

вали самые разнообразные люди, некоторым явно нельзя было доверять. Со всех сторон Ахматова была окружена неизвестностью. Она сразу же уводила меня, как только кто-то (и даже хозяин дома) появлялся в столовой. Никаких бесед не наедине она никогда не допускала. Да и в той крошечной комнатушке, где едва помещалась постель и стул для гостя, она всегда говорила очень тихо.

Анна Андреевна часто сама звонила мне, приглашая притти, и я в таких случаях всегда летела, как сумасшедшая, хватая на последние деньги такси, ибо чаще всего такой ее звонок означал новость "нетелефонную". Раз она назвала меня по телефону очень ласковым словом, которого раньше не употребляла, и я поняла, что снаряд лег совсем близко от меня. Бежала, не чуя ног, гадала: что? с кем? Оказалось, что у Ахматовой только что побывал Пастернак – его жена вернулась из Ленинграда, где почти при ней арестовали Сергея Спасского. Для меня это было большое горе. В присутствии Анны Андреевны я не смела плакать – ведь никогда в жизни я не видела слез на ее глазах. Она сказала мне: "Вы очень бледны. Сварить вам кофе?"

Летом я приезжала в Ленинград, и мы по-прежнему много ходили по улицам и садам, иногда вместе обедали в каком-нибудь кафе; однажды, направляясь в "Квисисану", мы встретили М.М.Зощенко. Он бросился к Анне Андреевне, стал горячо целовать ей руки, она тоже явно взволнована была этой встречей. И когда он отошел, произнесла задумчиво: "Мишенька..." А потом, смеясь, обратилась ко мне: "Ну, знаете, Наташа, я считаю, что сделала для вас все возможное. В каком это еще городе вам к приезду устроят встречу Ахматовой с Зощенко?" И мы еще долго о нем го-

ворили. Анна Андреевна ведь очень высокого ценила его как писателя, говорила, что "Голубая книга" – "это чудо".

Зощенко был в ту пору более спокойный, оживающий, он уже получил высочайшее разрешение зарабатывать переводами. А года за два до этой встречи у нас с Анной Андреевной был о нем такой разговор. Зощенко дали напечатать маленький рассказ. Это, конечно, был уже некий политический акт послабления, но рассказ был плохой, и все это тоже невольно отметили, сказала и я: рассказ-то плохой! Анна Андреевна очень рассердилась. "Да, вот со всех сторон только одно и слышу – Зощенко написал плохой рассказ. А скажите, почему они думают, что он должен писать для них хороший рассказ? А они хорошие? А они – что сделали?" Я молчала, благодарная ей за этот урок. К тому же вопрос этот был для Анны Андреевны особенно больным. Ведь она вынуждена была послать в "Огонек" стихотворения о Сталине. Ее сын был заложником в лагере, но, разумеется, стихи не помогли. Представляю себе, как она страдала – она, с ее гордостью, с ее сознанием себя. Дорого доставался ей сын, – а ее недоброжелатели всегда шептали, что она плохая мать... Да за себя она никогда в жизни не стала бы так бороться! Она была замечательно бесстрашной и к тому же верующей христианкой.

Кто чего боится,
То с тем и случится.
Ничего бояться не надо...

Я рано, к счастью, узнала эти стихи, они были всю жизнь одной из моих личных молитв.

Расскажу еще один случай, когда Анна Андреевна на меня сильно рассердилась. В 1953 году Эм.Казакевич напеча-

тал свою повесть "Сердце друга". Там есть такая фраза: "Девочки... увлекались стихами Анны Андреевны Ахматовой". Она была просто вне себя. "Я ему Анна Андреевна. Я не имею чести быть знакомой с этим господином! Я Анна Ахматова, и никак иначе он не смеет меня называть!" Пытаясь ее успокоить, я стала невнятно оправдывать Казакевича – он, мол, не подумал... Но Ахматова терпеть не могла таких неопределенных высказываний и закричала: "Ах вот что! Вы, значит, считаете, что можно так поступать? Нет, таких вещей делать нельзя, и если вы этого не понимаете, вы никогда не станете литератором!"

Я молчала, долго молчала и она. После длинной паузы Анна Андреевна сказала: "Расскажите мне что-нибудь про свою дочку".

Не могу вспомнить, с чего начался у нас однажды спор о Станиславском. Мой отец был театроведом и поклонником Художественного театра, и как бы в память отца я считала своим долгом возражать Анне Андреевне, когда она ругательски ругала этот театр и его систему, говоря, что они сознательно губили театральное искусство. Анна Андреевна не любила, когда ей возражали. Комично, что наш спор происходил в комнатке на Ордынке, где жил Алеша Баталов, впоследствии известный артист. Его дядя был знаменитый мхатовский Баталов, сам он был тоже поклонником системы и в его комнате висел портрет Станиславского. Поэтому Анна Андреевна даже не произносила ненавистное ей имя, делала только жест в сторону портрета: "Этот господин", "этот шарлатан". Мне так и остался неизвестен источник этого ее крайнего раздражения.

В "Литературное наследство", где я несколько лет работала, принесла свои воспоминания о начале века одна пожилая женщина. Она мало кого знала лично, но от людей она слыхала... и эти побасенки она записала в виде коротких и забавных историй про знаменитых людей. Получилось довольно интересно. Например, она привела изречение Гумилева: "Меня почему-то считали ревнивым мужем, а ведь я давал Анечке полную свободу. Когда она опаздывала на свидание, я сам отвозил ее на извозчике". Мне показалось, что хотя это немного фривольно, но поэтично, мило и в духе эпохи.

И представляя себе, как я расскажу это Анне Андреевне, я мысленно слышала ее ответ – с улыбкой: да, случалось.

И вот я неосторожно рассказала это Анне Андреевне. Ей этот рассказ отнюдь не показался милым и поэтичным. "Какая наглость! – воскликнула она. – Гумилев был настоящий мужчина! Никогда в жизни он не стал бы возить жену к любовнику!"

Наш разговор происходил в 1957 году. В это время Ахматова стала с нарастающим интересом следить за всем, что о ней писали и говорили. Куда девался юмор, с которым еще несколько лет назад она рассказывала мне о приписанных ей романах, о бесцеремонных вопросах вроде: "Как, разве с Пастернаком у вас уже все кончено?" Теперь каждый подобный инцидент вызывал у нее приступ долго не проходящего гнева. И когда я пришла к Анне Андреевне в следующий раз, оказалось, что она ничего не забыла и не отошла. "Дайте мне адрес этой О.П., – сказала она, – Лева к ней пойдет объясняться". (Лев Николаевич незадолго до этого возвратился из лагеря, и Анне Андреевне приятно было

чувствовать рядом мужчину, который вступится за ее честь. Она не хотела подумать о том, что показания ребенка, который провел свое детство у бабушки Гумилевой в Бежецке, пока его родители выясняли свои отношения, в подобном вопросе стоят немногого!)

Мне пришлось убедить Анну Андреевну, что она может причинить мне служебные неприятности, – только так я смогла отговорить ее от этого шага.

Каждый человек не любит, когда о нем говорят неправду, но Анна Андреевна в эти годы стала сердиться и тогда, когда вообще о ней что-то становилось известно, даже если это была правда. Впрочем, правда, прошедшая через чужие руки, перестает быть правдой, и можно себе представить, как надоедало Ахматовой выслушивать свою жизнь из чужих уст.

Я как-то сказала ей, что хорошо представляю себе Ахматову англичанкой. Там, в Англии есть еще фамильные замки и фамильные тайны. Она усмехнулась: "Ну, знаете, у меня есть тайны пострашнее английских".

Но иногда вдруг, отбросив тайны, она могла рассказать о себе очень откровенно. К сожалению, в последние годы жизни ее рассказы о себе обычно имели определенную цель, утверждение собственной концепции ее жизни, и главная роль в этой концепции принадлежала Гумилеву.

Я, разумеется, никогда не возьмусь судить о том, кто был самой сильной любовью Ахматовой, кто сыграл в ее жизни самую большую роль. Могу высказать лишь свое собственное ощущение, связанное с моим восприятием ее личности. Мне всегда казалось, что через все свои трагические любови и браки она пронесла какое-то неиссякаемое

чувство к Гумилеву. Ведь именно с ним было связано и ее материнство, и ее вступление в русскую поэзию, и ее первая слава. "Вся Россия подражала Гумилеву, – сказала она мне. – А я – нет". Рассказывала о своей размолвке с Гумилевым: "Раз мы ссорились – как все люди ссорятся, и я сказала: А все равно я лучше тебя стихи пишу". И к памяти Гумилева она относилась с ревностью, и чисто женской, и поэтической, и всяческой. Ужасно сердилась, когда читала что-то о нем – все ей не нравилось, даже похвалы!

Вообще к старости она стала сердиться по всяким пустякам, часто раздражалась без причины. Однажды я была у нее в больнице, где она лежала с первым инфарктом, и спросила, что привезти в следующий раз. Она сказала – боржом. Когда я притащила тяжелую сумку с бутылками, то услышала: "Вы привезли боржом? Он мне совершенно не нужен, можете увезти его обратно". Но любящие ее люди на это не обижались. Она сама умела гасить свое раздражение, ведь по натуре она была добра, деликатна, участлива. Ей можно было все рассказать. Вот и Н.Я.Берковский говорил мне: "Со смертью Анны Андреевны я потерял своего лучшего собеседника... Есть вещи, которые я мог сказать только ей..."

Разумеется, лучше было рассказывать покороче. Ведь она все понимала с полуслова. Однажды какой-то мой рассказ она перебила словами: "Деточка, о мужчинах я знаю все".

Приведу еще два высказывания на женские темы. "Залог семейного счастья – в полной пассивности женщины". "Климакс – это вопрос интеллекта".

Когда в моей жизни происходил серьезный перелом, она

мне сказала: "Я много слышала от разных людей, но сама не произнесла ни слова. Я считаю, что в таких случаях роль друзей только в том, чтобы молчать". И когда, мне передали, вопрос обсуждался с позиций другой женщины, она произнесла только одно: "Я – из партии Наташи". В те дни она задала мне один вопрос, поразивший меня прямотой и ясностью: "Вы любите его?" Я молчала – ясности-то и не было у меня в душе. Она тут же сказала: "Да впрочем, вы и сами не знаете". И это было именно то, что мог сказать человек, знавший "все". Она проявила сердечный интерес и никакого любопытства – само благородство! Поэтому-то с ней и можно было быть по-настоящему откровенным во всем. Я долго не могла никому рассказать о преследовавших меня ночных кошмарах. Наконец сказала Анне Андреевне: "Мне кажется, что я схожу с ума. У меня галлюцинации". Она перебила меня – угадав: "Вам, наверно, по ночам мерещатся звонки? Не беспокойтесь, это у всех". И я сразу выздоровела. Мерещились телефонные звонки, мерещились звонки в дверь, мерещилась слежка и бог знает что – всем. Ей тоже.

Сострадание Анны Андреевны к жертвам сталинского террора было вообще очень широко. Без этого чувства она не написала бы "Реквиема". Когда случилось несчастье с моими родственниками, братом отца профессором Григорием Иосифовичем Роскиным и его женой Н.Г.Клюевой (они были обвинены в том, что якобы передали американцам свой труд по изучению биотерапии рака, и судимы судом чести в Колонном зале – там, где за два года до того триумфально читали стихи Ахматова и Пастернак) – Анна Андреевна, не знакомая с ними, всегда слала им через меня при-

вет. С 1948 года они находились в таком же положении, как и она, под гласным надзором, почти под домашним арестом, в полной неизвестности относительно своего будущего. Я благодарила ее за внимание, но мне бывало больно – ведь Анне Андреевне даже в голову не приходило, что они не только не чувствовали родства с другими жертвами общей системы уничтожения, но, напротив, упорно отгораживались от них. О себе они твердо знали, что ни в чем не виноваты, а про других говорили "Правительству виднее", "Ну, этот сам виноват – много трепался" и т.д. Ахматова же никогда ни от кого не открещивалась и от этого становилась только еще сильнее. Так же она передавала через меня приветы и приглашения Василию Семеновичу Гроссману, с которым не была знакома и книги которого были ей далеки. Василий Семенович по гордыне своей приглашением не воспользовался.

Известны мне и разные истории, которые свидетельствуют, сколь велика была популярность "Анны всея Руси" в кругах униженных и оскорбленных. Когда Хрущев закатил свою прогремевшую истерику в Манеже, на выставке художников, и выяснилось, что это Серов натравил его, Анна Андреевна рассказала мне следующее (рассказала по секрету, но теперь уж, когда не только ее, но и Серова нет в живых, то и секрета нет). До войны у Серова постоянно были частные натурщики. Один юноша, позируя ему, был с ним откровенен. Когда пришла пора расплачиваться, Серов решил деньги сэкономить и донес на юношу. Из лагеря тот писал своей матери, одинокой пожилой женщине, мужественные письма, пытался ее утешить. И написал ей, чтобы она отыскала адрес Анны Ахматовой и пришла к ней

поговорить. Он не был с Анной Андреевной знаком, и обе женщины предполагали, что такой совет он мог получить от кого-то из своих товарищей по заключению. А может, он и сам подумал о ней, как об утешительнице – по стихам. До войны эта женщина несколько раз была у Анны Андреевны, потом след ее и сына затерялся.

Неожиданные поклонники оказывались у нее и в кремлевской среде. Как-то в начале шестидесятых годов она попросила меня "о гостеприимстве". Оказалось, что ей нужно было устроить на неделю свою приемную внучку Аню. Аня жила у меня в однокомнатной квартире, спала на кухне и каждую минуту просила то конверт, то бумагу, то чернила: писала мужу письма, его, молодого художника, забрали в армию и отправили куда-то в Карелию, к черту на рога. Через месяц Анна Андреевна открыла мне секрет. Аня приехала в Москву из Ленинграда, чтобы увидеться с Анной Андреевной и сказать ей: "Акума! Ты все можешь! Верни мне Леню!"

Девочка хорошо знала Акуму (теперь уже, кажется, всем известно это домашнее прозвище Ахматовой, которое дал ей Шилейко) и польстила ей. Идея всемогущества – при полной беспомощности – была весьма привлекательна для Ахматовой: она обратилась к маршалу Коневу, о котором слышала, что он любит стихи, знает ее поэзию, и молодого художника перевели под Ленинград, чтобы он мог приезжать к жене на воскресенье.

Писала Анна Андреевна в те годы мало. Ей предоставили возможность зарабатывать переводами: это спасало ее от голода, но она не раз говорила мне, что переводить и писать свое одновременно – немыслимо. Ахматова не была трудо-

любива. Она была рождена для искусства и разговоров о нем, которые неутомимо вела часами; никакой труд, в том числе обычный женский, не был для нее привлекателен. Немыслимо представить себе ее за шитьем, вышиванием или же увлеченной стряпней. Она умела красиво приготовить селедку, – вот, кажется, единственная ее домашняя обязанность. По доброй воле она никогда бы не занялась переводами стихов. В тридцатых годах она охотно переводила прозу – с французского: письма Рубенса, пушкинские тексты. "Я люблю переводить прозу, – сказала она мне. – И умею". От переводов стихов она когда-то отказывалась наотрез. Профессор Н.Я.Берковский, возглавлявший издание сочинений Гейне, рассказал мне, как еще не знакомый с Ахматовой, он позвонил ей по телефону и предложил перевести что-то для этого издания. Она ответила не без надменности: "Я стихов не перевожу". Теперь положение было такое, что отказываться от работы никто не мог, и Анна Андреевна частенько брала переводы стихов, чтобы передать их нуждающимся литераторам. Однако, конечно, все равно ей приходилось тратить на это уйму времени, когда соавторствуя, когда выправляя, и я не в силах была скрыть от нее свою горечь: ведь кто может знать, чего мы из-за этого лишились? Может быть, она написала бы еще одну поэму? Однажды прихожу – на столике лежат стихи Усенко, я хлопнула рукописью по столу, чертыхнулась. А она так мило, беззлобно отвечала: "Напрасно вы, ничего страшного. Вот Шенгели перевел "Дон-Жуана" и все ахают: "Боже, что Шенгели сделал с Байроном!" Как будто это разбитая статуя, как будто теперь уже никто не сможет читать Байрона в подлиннике. А про меня по крайней мере никто не ска-

жет: Боже, что Ахматова сделала с Усенко! Правда?" Перевод Шенгели, мне кажется, Ахматовой не мог нравиться, но она была очень корректна в отношении людей, которые были к ней добры, а Шенгели охотно оказывали ей гостеприимство. Она и живала у них в Москве, а ведь это было не так легко – принимать Ахматову. Но вообще, конечно, ей было ни к чему читать Шенгели, ведь она имела широкие возможности читать европейскую литературу в подлиннике. С юности она читала латинских авторов, Овидия, Горация; знала французский, немецкий, итальянский.

Лет тридцати она, по ее словам, подумала: "Как глупо прожить жизнь и не прочесть в подлиннике Шекспира". Шекспир был ее любимейшим писателем из не-русских. (Из русских – Пушкин и Достоевский). Она стала заниматься английским языком: первые несколько уроков ей дал Маршак, а потом сама читала всякие грамматики и самоучители, часов по восемь в день. "Через полгода я свободно читала Шекспира".*

---

* Когда Анна Андреевна в последний раз была у меня в гостях зимой 1964 года, она расспрашивала преподавательницу моей дочери Е.С.Туркову: "Как вы считаете, за какой срок можно изучить английский язык?" Та ответила: "Лет пять нужно". – "Пять лет? А я за полгода выучила". Но знание ее было, конечно, книжным, разговорного английского она совсем не понимала. Мне рассказывал один молодой англичанин, который был на церемонии присуждения ей степени доктора Оксфорда, что она прекрасно понимала всю латинскую часть церемонии, но то, что говорилось по-английски, от нее ускользало; и своим низким густым голосом она громко спрашивала Аню Каминскую (дочь Пуниной, которая с ней ездила в Англию) по-рус-

Она следила и за новой литературой. Между прочим, очень любила детективные романы (''Ночь с детективом – это чудесно'') , но, кажется, это был единственный род плохой литературы, который она признавала. Чаще всего она читала замечательные книги. Все великое было ей сродни. Я заставала ее за перечитыванием Данте по-итальянски. Когда вышел пастернаковский перевод ''Фауста'', она сказала: ''Всю жизнь читала это в подлиннике, и вот впервые могу читать в переводе''. А когда Пастернак пригласил ее на премьеру ''Марии Стюарт'' в МХАТ (не помню, была ли она – пренебрегла ли ради любви к Пастернаку нелюбовью к Художественному театру, и вообще могла ли пойти), она сказала: ''Я никогда не могла понять, что находили в этой женщине? Мужеубийца. Почему ее так идеализировали? Помните, в начале ей камеристка говорит, – в ответ на ее слова о страшном грехе, – ну ничего, ведь вы тогда были еще молоденькая!'' И рассмеялась.

О ''Процессе'' Кафки она сказала мне: ''У меня было такое чувство, словно кто-то схватил меня за руку и потащил в мои самые страшные сны''. А Андрею Сергееву сказала: ''Как, вы не читали ''Процесс''? Бегите и прочтите!''

Про ''Дон-Жуана'' Байрона: ''Прекрасно, но наш ''Онегин'' как бабочка выпорхнул из него!''

Про ''Тома Сойера'': ''Великая книга. Как ''Дон-Кихот''.

Да и вообще она была великолепно образованным че-

(к стр. 31)

ски: ''Куда мне идти?'' Вообще же можно представить себе, как великолепно выглядела она там, в этой мантии! Самим богом она была создана для торжественности!

ловеком. Очень хорошо училась в гимназии и благодаря своей богатой памяти, помнила все, чему ее учили. Она сказала: "Я и физику помню, но ведь при мне ее знали только до телефона". Всем она интересовалась и ценила реальные знания, особенно если они были сформулированы кратко и выразительно. И ее суждения о политике всегда были самостоятельны и интересны. Например, когда японцы напали на Пирл-Харбор и потопили американский флот, она сказала: "Американцы – простодушные дети, но своим зверством японцы превратят их в зверей". Эти свои слова она вспомнила и повторила мне, когда на Японию была сброшена американская атомная бомба. А ведь мы теперь забываем, что тогда лишь очень немногие и очень проницательные люди не обрадовались этому взрыву – концу войны, любой ценой концу войны.

В 1945 году она говорила мне о невероятно растущей роли женщин в современном мире. "Мужчины скоро вообще ничего не будут делать сами. Скоро они заявят: "Война – это не мужское дело, и только откуда-то из центров будут руководить отрядами амазонок".

Из своих высказываний Анна Андреевна сама больше всего ценила именно такие, пророческие. Это была ее слабость. Однажды в ее присутствии дома шел разговор о какой-то девочке, о ее одаренности; Ахматова, совсем еще юная, лежала с книжкой на диване, не участвуя в разговоре. А когда кто-то сказал, что девочке предстоит большое будущее, Ахматова неожиданно для самой себя произнесла: "Да, если в шестнадцать лет она не умрет в Ницце от чахотки". Все были поражены, когда предсказание в точности сбылось.

”Все, что я проклинаю, расцветает, – любила она повторять применительно к своей книге. – Я ее прокляла, только потому она и вышла в свет”.

Еще об оккультном. Очень смешно рассказывала она, как в какой-то компании был графолог, и все присутствующие дали ему анонимно свои почерки. Об Ахматовой он сказал, что у нее почерк женщины, занимающейся домашним хозяйством и ведущей домоводческие книги. А в другой раз, другой графолог сказал ей: ”В вас есть искра таланта”.

Она любила такие законченные, коротенькие истории, с афористическим высказыванием, ни для кого не обидные. Она не любила осуждать людей и редко говорила о них дурно – о знакомых или о незнакомых. Однажды я пожаловалась ей на одного общего знакомого, злоязычного сплетника. Она подняла брови: ”Правда? Да, все что-то говорят, но со мной он – как ангел”.

Разумеется, длительно зная Анну Андреевну, я иногда видела ее кем-то недовольной, знала некоторые ее антипатии, но за ними всегда стояло что-то существенное. ”N. N. – плохая женщина. Когда арестовали ее мужа, я все делала, что полагается, а когда арестовали Леву, и я приехала в Москву хлопотать, она не приняла меня, сказала, что боится”.– ”N. – это страшная семья, где дочь ненавидит мать, отец презирает сына, все вместе обижают несчастного сироту...” – ”Если когда-нибудь на большой дороге на вас нападут разбойники, свяжут и поведут к своему главному разбойнику, то вот этот самый главный и будет – N.” (Она назвала имя одного известного переводчика.) – ”Ну, что о N. говорить, он всю жизнь под сталинским крылышком проси-

дел". – "N . – церковный староста. Разве вы не знаете, они же все на двух службах".

Кратко и ясно она квалифицировала казусные ситуации. В 1961 году я подарила ей американский, только что вышедший сборник "Воздушные пути", где впервые были изданы стихотворения Мандельштама из "Воронежских тетрадей" и "Новых стихов". Это издание в Америке делалось энтузиастами – любителями русской поэзии; никаких доходов издателю Р.Н.Гринбергу оно не приносило, напротив, приносило убытки. Сразу ясно было, что публикация сделана по плохим спискам. Ошибки, опечатки, неточности бросались в глаза. Что же делать – список был вывезен за границу без ведома вдовы поэта и не был сличен с авторизованными источниками, – не правда ли, и на том спасибо. Однако Надежда Яковлевна Мандельштам стала на другую точку зрения, и мне рассказали, что она собирается писать открытое письмо редактору "Воздушных путей" и печатать его в "Литературной газете". Я тут же помчалась к Анне Андреевне и стала длинно выражать свое возмущение. Она остановила меня движением руки: "Я уже Наде все объяснила. Я сказала ей, что нельзя состоять в двух партиях сразу".

Ее положительные отзывы тоже не были распространенными. У нее ничего нельзя было узнать ни о ком. Я знала о ее дружбе с профессором Н.Я.Берковским, и когда вышла в свет его великолепная книга статей, то стала о нем расспрашивать Анну Андреевну, но никак не могла ничего выудить – какой он. Тогда я спросила по-женски: "А какая у него жена?" Она ответила: "Жена... Елена Александровна".

На один мой монолог обвинительный она не ответила ни одним возражением, а сказала только: "Я ее люблю". Ее

правилом было не рассказывать о близких людях никаких подробностей.

Но вот одно из редких исключений. Алексей Баталов, еще совсем молодой, в расцвете своей славы, только что вернулся из поездки в Париж, с триумфальной демонстрации фильма "Летят журавли". И тут же собрался ехать на Сахалин. Здоровье его было в неважном состоянии, и его мать Нина Антоновна очень огорчалась, просила Анну Андреевну отговорить его. Анна Андреевна сказала ему наедине: "Алеша, зачем вам ехать, ведь там такой тяжелый климат, это же каторга". А он ответил: "Мне так хорошо было в Париже, я должен теперь это искупить".

Эта фраза глубоко тронула Ахматову. Она была религиозна, и это, конечно, было весьма существенной стороной ее личности. Основой ее мужества и патриотизма была именно вера. Она верила, как современный человек, со всей широтой философского восприятия жизни и с широким приятием православной церкви.

Своей религиозности она не скрывала, но никогда не афишировала и крайне редко о ней говорила. Фрида Вигдорова рассказала мне, – быть может, анекдот, выдуманный самой Ахматовой, – что ей как-то позвонили из антирелигиозного журнала с просьбой дать стихи, и она ответила: "Это не мой профиль".

С такой же широтой она относилась и к национальным вопросам. Она была истинной интернационалисткой и говорила мне, что никогда в жизни не умела отличить еврея от русского. "В мое время среди интеллигенции и не было другого воспитания, – рассказывала она. – Вот Ирочка Пунина вышла замуж за Романа Альбертовича и только потом

узнала, что он еврей". – "То есть как? – изумилась я. – Ведь его фамилия – Рубинштейн". – "А она не знала, что это еврейская фамилия. Думала – у одного русского фамилия Иванов, у другого – Рубинштейн. Да в мое время только так и было".

Другая важнейшая ее черта – аристократизм. И внешности, и душевному ее складу было присуще необычайное благородство, которое придавало гармоничную величавость всему, что она говорила и делала. Это чувствовали даже дети. Она мне рассказывала, как маленький Лева просил ее: "Мама, не королевствуй!" Страх оказаться рядом с ней мелким сковывал самых близких ей людей. Она это понимала и часто страдала от этого. Когда у нее был роман с Гумилевым (он длился много лет, значительно дольше, чем их брак), она уехала в Крым. Гумилев поехал туда, чтобы с ней увидеться. Он приехал к даче, подошел к забору и заглянул в сад: она сидела в белом платье на скамье и читала книгу. Гумилев постоял, не решился окликнуть ее и уехал в Петербург. Она рассказывала мне это с горечью, но и с гордостью, ибо именно такою была в ее представлении истинная любовь поэта.

У Анны Андреевны были, конечно, свои недостатки, но они как-то ничего в ней не нарушали. Она была очень цельным и крупным человеком, и очень ясным, – как и ее поэзия.

*

* *

Я никогда не записывала ничего после разговоров с Анной Андреевной, хотя сознавала их ценность не для себя одной. Она никогда не говорила зря. Болтливость, суесловие, ломанье, – все это было ей как никому чуждо. Она говорила интересно – или молчала. Притом ее высказыванья были так лаконичны и остроумны, что казалось бы, чего проще донести их до бумаги. Но, во-первых, это только казалось. Речь ее была такой, что теперь, вспоминая ее, я чувствую: на бумаге слишком много слов. Она никогда не употребляла современных словечек, а если употребляла, то иронически, приговаривая: "Знаете, как теперь говорят"...* И вместе с тем, никогда не выражалась старомодно. Очень терпима она, кстати, была к тому, как говорили при ней. Никогда не делала замечаний и посмеивалась над одной знакомой, которая с сильным грузинским акцентом поучает собеседника: "Надо говорить не апэльсин, а апэльсин". ("Знаете, есть такие дамы, которые любят получать дипломы. Вот это дама с двумя дипломами"). Помню лишь, как однажды я сделала ошибку в произношении старинного церковного слова, и губы Анны Андреевны тронула легкая улыбка. Не шокировали ее и ругательства, и Ардовы, мне

---

* Однажды я сказала о чем-то: "Кошмар!" Анна Андреевна заметила: "Теперь надо говорить так: "Кошмар – это не то слово". Вообще, эта гранд-дам, способная и даже склонная к великосветским беседам, обладала чутьем ко всему, что было связано с нашим специфическим советским бытом. "Знаете, какие теперь гости? Приходят, осматривают стены и говорят: "А-а, все понятно, клопов морили!"

кажется, даже находили особый вкус в том, чтобы в ее присутствии говорить все, что им приходит в голову. Правда, когда Анна Андреевна в Болшеве познакомилась с двумя старыми москвичками, сестрами Игнатовыми, дочерьми издателя "Русских ведомостей", то их старо-московско-интеллигентная речь доставила ей большое удовольствие.

Сама Анна Андреевна не хотела и не любила, чтобы записывали ее слова. В черные времена она считала это опасным для собеседника. Ей тогда казалось, что само ее имя обладает какой-то силой проклятья. В тот день, когда она жгла у меня мои стихи, я попросила ее надписать мне фотографию. Она сказала: "Это нельзя". Но так как я очень просила, то она поставила на обороте свой маленький знак, перечеркнутое А: А . С середины пятидесятых годов, правда, она стала надписывать книги и фотографии очень охотно и уже не думала об этом проклятии, но по-прежнему отрицательно относилась к людям, которых подозревала в том, что они записывают ее слова. Ведь она сама великолепно писала прозой, и все, что хотела, написала бы сама, без их помощи. И еще, мне кажется, тут было какое-то суеверное чувство. Я поняла это, когда при мне Анне Андреевне сказали, что ее автограф на черном рынке стоит пятьдесят рублей. Я видела, что она побледнела и вздрогнула.

Но главное обстоятельство, почему я не вела записей, – в самом характере отношений моих с Анной Андреевной. Дело в том, что у нее были свои требования к собеседнику, которые не всегда легко было понять. С одной стороны, конечно, предполагалась любовь к ее стихам, знание ее поэзии, а с другой стороны – ее раздражало, что ей смотрят в рот, не осмеливаются ни в чем возразить. Преклонение

ведь тоже приедается. Время от времени она уставала от собственного величия и ей хотелось обычного человеческого общения. Однажды Антонина Петровна Оксман сказала: "Какая вы красивая!" Анна Андреевна ответила: "Я этого не слышала". Она рассказывала мне, как ее пригласили, точнее, зазвали куда-то встречать Новый год; назавтра Ахматовой передали слова актрисы Ольги Жизневой: "Была Ахматова и рта не раскрыла". "Чего же она ждала, что я кувыркаться перед ней буду, что ли?" – с возмущением говорила мне Анна Андреевна. Однажды она просила меня куда-то ее проводить и, зная, что в тот день мне это будет трудно, извинилась: "Я бы попросила... (она назвала имена двух славных девушек), но не хочется: уж очень они... оглашенные". Мне она частенько выговаривала: "У вас злой язык", – и иногда даже долго упрекала за какие-то фразы. Например, Анна Андреевна ненавидела Ольгу Ивинскую, возлюбленную Пастернака. По мнению Ахматовой, она принадлежала к разряду людей, достойных общественного презрения. Я попыталась что-то сказать в ее оправдание. Анна Андреевна вспыхнула: "Это страшная женщина. Она била свою мать!" Я спросила: "Да? За что?" Этой фразой она не раз меня укоряла: "Только вы способны так сказать. Вы бываете невозможны". Но в каком-то смысле она, по-видимому, не чувствовала себя со мной связанно. Читая мне свои переводы, она заметила: "Вы не думайте, что это я вас развлекаю, я знаю, что это скучно, мне нужно ваше мнение. У вас ведь есть эта манера говорить правду".*

---

* Впрочем, я допускаю, что это были чужие переводы, которые

И все-таки, чувство необыкновенного никогда в ее присутствии меня не покидало, и думаю, – никого не покидало. Длить это чувство дома, чувствовать себя Эккерманом при Гете – я не умела.

Теперь, конечно, я жалею об этом, и всегда знала, что когда-нибудь буду жалеть.

Кое-что случайно все-таки оказалось записано. В 1950-1952 гг. я часто писала об Анне Андреевне одному нашему общему ленинградскому другу.

"Как-то я говорила Анне Андреевне, что горюю о ранней смерти Пушкина, а она мне отвечала, что в истории все делается вовремя. "Пушкин, – сказала она, – был бы немыслим в сороковых годах, его бы все забыли, это было бы ужасно".

"Анна Андреевна говорит, что Волконская поехала в Сибирь не из-за мужа, а из-за любовника. Я спросила: "А разве ехать в Сибирь из-за любовника – это меньший героизм, чем из-за мужа?" Но не в этом дело, она считает, что вообще декабристки поехали вынужденно, на них все косо смотрели, как на жен цареубийц. Вообще, когда речь идет об истории, она судит как женщина света. "Пушкин был воспитанный человек". Чувствует она себя плохо, хворает, одинока, скучает..."

Анна Андреевна говорит: "Чехова я не люблю и знаю по-

(к стр. 40)

ей надо было прикрыть своим именем, – возможно поэтому в тот раз (были и еще такие случаи) она особенно настойчиво просила меня быть строгой.

чему. "Рассказ неизвестного человека" – как это фальшиво, искусственно. Ведь Чехов совершенно не знает эсеров. Вы не представляете себе, деточка, какие это были оглашенные. Когда умер великий князь Владимир Александрович, они волосы на себе рвали, что не они его убили, а он был никому не нужный старый развратник. Но они не могли себе простить, что дали ему умереть своей смертью. А что Чехов делал? Заставил эсера влюбиться в какую-то женщину – да разве это та женщина, ради которой вообще что-то бросают? Бегает целый день по магазинам и говорит глупости... несусветные глупости. Но мало того, разве Чехов знает чиновничество? Высшая петербургская бюрократия – а он из них делает каких-то околоточных из Царево-Кокшайска! Ходят в спальню, хихикают там над туфлями – да где это видано. Это бог знает что.

Еще читала "Попрыгунью". Уж очень это симметричный рассказ. Так нельзя. В искусстве симметрия нехороша. Кроме архитектуры.

– А в стихах?

– Тоже. Асимметричные вещи гораздо приятнее. А здесь это уж очень элементарно.

"Невеста". Знаете, это какая-то болезненная вещь. Все время жажда жить. Жить, жить, жить! Ну что это такое? Человек вовсе не должен хотеть жить, это получается само собой. Надя очень жестока, ей никого не жаль, ни матери, ни бабки, только "жить". Да в Петербурге полно было таких девок, что хотели жить, ехали на курсы и ничего хорошего из этого не вышло.

Это, я думаю, было у Чехова от его болезни, – и "Черный монах", и "Невеста". У него много было от чахоточного.

И Чехов многого не видел. Как-то близоруко смотрел на Россию. Так нельзя – слишком близко, тогда видны только тараканы в щах. А я вот сейчас читаю пушкинские материалы к истории Петра. Россия – уж куда сухопутнее! Да русские максимум воду видели, когда умывали лицо в речушке. А шведы – викинги! Полезли воевать со шведами. Бьют их – как хотят! И на море, на море бьют, вот что поразительно!

– А как же это?

– А я, деточка, не знаю, как. Но надо это видеть, и вот Пушкин это видел, а Чехов не видел, нет. Нет, нет, конечно, я знаю, что вы его любите, но все-таки, согласитесь, он был такой близорукий... в пенснэ... Нет".

"Вчера Анна Андреевна рассказывала мне историю своего разрыва с Гаршиным (речь идет о племяннике знаменитого писателя, ленинградском профессоре патологической анатомии): "В Ташкенте мне жилось великолепно, там все меня любили и за мной ухаживали. Получаю от него телеграмму, что он просит быть его женой. Я отвечаю, что согласна. Тогда он посылает мне новую телеграмму, что он просит меня переменить фамилию на "Гаршина". Странно, не правда ли, мне менять фамилию? Но я и на это отвечаю, что согласна. Я еду в голодный, холодный, послеблокадный Ленинград. Он встречает меня на перроне, я сразу чувствую – что-то не так. Выходим с вокзала, он спрашивает: "Куда вас отвезти?" Я ответила, что поеду на свою квартиру (это была комната в Фонтанном доме, где жил бывший муж Ахматовой Н.Н.Пунин и его дочь). Он проводил меня, у подъезда попрощался, поцеловал мне руку, и больше мы не

виделись. Ну, что вы на это скажете? Я, слава богу, знаю, как бросают, сама делала это тысячу раз. Но так – это просто неприлично".

Говорили о Пушкине. У Анны Андреевны теория, что мы все влюблены в Пушкина, от этого нам все про него интересно, и есть даже такой жанр: "Знакомые Пушкина". А вот такого жанра – "Знакомые Достоевского" – нет.

"Достоевский у меня самый главный. Да и вообще он самый главный. Я сейчас как раз перечитывала "Преступление и наказание". Только вот, знаете, мне кажется, что вся линия Мармеладовых – лишняя. Это у него осталось от старого замысла, от "Пьяненьких". Это еще слабость писательская, в более поздних вещах у него этого нет. Нам все время хочется быть с ним, мучиться вместе с ним, а приходится слушать про Мармеладовых каких-то; Соня была ему нужна, но незачем было прицеплять к ней маму, папу, трех детей.

И как это гениально, что Раскольников возненавидел потом мать и сестру, они были связаны для него с "этим", и он их видеть не мог...

А знаете, Томашевский нашел тот дом, где жила старушка. Один только есть такой дом, подходящий к описанию. Он звал меня посмотреть, но я не пошла: (лукаво) мне по лестницам ходить вредно... Да, Достоевский, конечно, самый главный. Томашевский мне рассказывал, что приезжают иностранцы, смотрят дом, где жил Достоевский, дом, где жила старушка, умоляют больше ничего им не показывать и уезжают".

*

* *

После смерти Сталина Ахматовой сразу стало легче, хотя бы в денежном отношении. Вышел ее перевод пьесы "Марион Делорм" в собрании сочинений Виктора Гюго, она получила первые крупные деньги, – они доставили ей много удовольствия. Правда, она никак не изменила своего быта и не предалась жизнеустройству. Прожив всю жизнь бездомной, она не стала на склоне лет обзаводиться хозяйством. Я как-то спросила Анну Андреевну: "Если бы я стала богатой, сколько времени я получала бы от этого удовольствие?" – Она ответила с присущей ей ясностью: "Недолго. Дней десять". Когда у меня завелись деньги, я спросила Анну Андреевну, что мне с ними делать. Она отвечала опять-таки твердо: "Строить жилье. Жилье – это главное". Но сама она по-прежнему просила пристанища – когда, случалось, у Ардовых не было места, жила у Западовых, у Ники Глен, М.С.Петровых, Л.Д.Большинцовой, М.И.Алигер, Шенгели... А ее ленинградская комната и позднее – комаровская дача ("будка") являли собой прежнюю неприкаянность...

В 1956 году вернулся из лагеря Л.Н.Гумилев, чуть ли не позже всех. Анна Андреевна мучительно хлопотала о нем. Все вокруг возвращались, а ее хлопоты оставались бесплодными, и мне кажется, она была на пределе всех своих сил, когда Леву, наконец, освободили. Выдающиеся заслуги этого ученого были сразу же высоко оценены, и Анна Андреевна очень им гордилась, любила рассказывать о его успехах. И в чужих людях она очень ценила ученость, образованность,

а тем более в своем сыне, который полжизни провел на каторге. Но существовавшая всегда трещина обрушила их отношения настолько, что они совсем перестали видеться. Это омрачило последние годы жизни Ахматовой.

Лев Николаевич вышел из лагеря с последней волной "реабилитации". Анна Андреевна стала о себе говорить: "Я хрущевка", "я из партии Хрущева". Долго она продолжала это твердить, настаивая, что Хрущеву можно простить многое за то, что он выпустил из тюрьмы невинных людей. Пожалуй, только процесс Иосифа Бродского оборвал ее симпатии к Хрущеву. Бродского она очень любила, очень ценила его стихи. Мне кажется, это был единственный поэт из молодых, кто был ей действительно по душе. Он ей импонировал, в частности, своей образованностью и одухотворенностью. Анна Андреевна редко читала вслух чужие стихи. Для Бродского она делала исключение. Многие его строчки она постоянно вспоминала, например: "Вы напишете о нас наискосок". Этот стих, характеризующий ее почерк (строчки загибались у нее вверх), она сделала даже эпиграфом к стихотворению "Последняя роза".

Арест Бродского и суд над ним также омрачили последние годы Ахматовой.

И уж конечно горько пришлось ей во время истории с присуждением Пастернаку Нобелевской премии. Казалось бы, постановление ЦК о Зощенко и Ахматовой – в прошлом. И вот снова публичные поношения, гонения, позорные речи людей, которые, казалось бы, только что сами были гонимыми. Мрачные дни травли, когда никому не хочется друг на друга смотреть, глаз не хочется поднимать...

Ахматова не читала роман Пастернака "Доктор Живаго"

очень долго, хотя, перед тем как выйти в свет за границей, он, что называется, ходил по рукам. Сам Пастернак охотнейшим образом давал его читать и перепечатывать. Никому тогда и в голову не приходило, что скоро это станет криминалом. Когда я пришла к Анне Андреевне делиться впечатлениями, она, к моему удивлению, сказала, что блуждающая рукопись "Доктора Живаго" до нее не дошла. Я приняла эти слова за чистую монету и спешно постаралась достать ей экземпляр. Когда я, довольная, что так споро исполнила ее желание, привезла ей папки с машинописью обоих томов романа, Анна Андреевна схватилась за голову: "Неужели вы поверили, что я не достала рукопись? Да Борис сам сколько раз мне предлагал, да и кроме него, все вокруг предлагали, но я изо всех сил старалась, чтобы эта рукопись меня не настигла. Я не верю, что мне понравится". Я готова была забрать папки назад, но Анна Андреевна остановила меня: "Не увозите. Это судьба. Теперь я прочту". Однако предчувствие ее оказалось верным, роман ей не понравился – "восхитительными" она нашла только пейзажи, особенно восторгалась описанием куста.

Разумеется, стихи из романа она знала и раньше, и очень любила их. Другие, поздние стихи Пастернака часто разочаровывали ее. Однажды она показала мне машинопись длинного стихотворения и спросила: "Как вы думаете, чье оно?" Ответ мой был: "Это чья-то пародия на Пастернака". – "Мне тоже так показалось, – сказала она. – Но это сам Борис. Вот автограф". И она протянула мне текст "Вакханалии".

Когда Пастернак написал свое покаяние ("Я пишу в "Правду", потому что люблю правду"), она мягко сказала: "Вот и не надо было рукопись давать итальянцам. Чем потом

такие письма писать. В нашей стране на такие вещи могут идти только те, кто чувствует себя железным. А Борис ведь знал, что он не железный".

Когда я спросила ее о звонке Сталина Пастернаку о Мандельштаме, она ответила: "Мы тогда же подробно все с Надей обсудили и решили, что Борис вел себя на хорошую четверку". Она очень любила Пастернака, называла его часто "Борисик". Страшно радовалась встречам с ним и огорчалась, что эти встречи не одобряла Зинаида Николаевна Пастернак.

Существует известная фотография, сделанная на знаменитом вечере 1946 года – Ахматова, в своей белой с кистями шали, и – рядом – Пастернак. Оба очень хорошо вышли на этом снимке. Оба смотрят вперед, на зрителя, и видно одиночество каждого, и вместе с тем отчетливо проступает их внутреннее сходство. Зинаида Николаевна была контрастна им обоим. Однажды Ахматова хотела что-то передать Пастернаку и предложила мне вместе к нему зайти. Мы поднялись на лифте к его лаврушинской квартире. Ахматова сказала: "Ну, если откроет Зина – увидите спектакль". Открыла Зина, спектакль был весьма коротким: она обошлась с Ахматовой, как с курьером из издательства, через порог взяла у нее пакет и захлопнула дверь, не предложив зайти, едва кивнув. "Что, видели?" – спросила Ахматова. Она не скрывала, что глубоко задета.

В конце пятидесятых годов страна пережила взрыв любви к поэзии. Молодежь узнала десятилетиями скрываемые стихи Цветаевой, Мандельштама, Заболоцкого.

(О Цветаевой Ахматова сказала: "Мощный поэт". О Мандельштаме: "Это первый поэт XX века". Когда я сказа-

ла, что Мандельштам – это как Баратынский, она возразила: ”Мандельштам крупнее Баратынского”. Заболоцкого она ценила, но не любила, хотя ценила – некоторые стихи – высоко. О стихотворении ”Журавли” она сказала: ”Это настоящая классика!” Когда я принесла ей рукопись ”Признания”, она сказала: ”Прекрасное стихотворение! Только уж очень мужское”. К Заболоцкому эпохи ”Столбцов” она относилась, мне кажется, весьма прохладно, и уж конечно ей совсем не нравились его стихи в духе ”Некрасивой девочки” или ”Старой актрисы”. Она сказала: ”Все почему-то считают, что это похоже на Некрасова, а это похоже на Апухтина”. Однажды ей рассказали, что в какой-то компании кто-то предложил тост за Ахматову, и Заболоцкий поставил свой бокал на стол: ”За Ахматову я пить не буду”. Она не прощала таких вещей, – хотя если бы он просил прощения, она бы ответила: ”Бог простит”.

Из рук Анны Андреевны я получила тетрадку неопубликованных тогда еще стихов Арсения Тарковского – поэта, бесспорно ею чтимого.

Еще о Блоке. Когда Анна Андреевна прочитала записные книжки Блока и увидела, что не оставила в них следа, – это уязвило ее. Не раз я слышала ее высказывания в таком духе: ”Как известно из записных книжек Блока, я не занимала места в его жизни...”).

На волне этого взрыва любви к поэзии поднялись и тогдашние молодежные кумиры: Вознесенский, Рождественский, Евтушенко, Ахмадулина. Ахматова называла их ”эстрадники”. Ей не нравилась их шумность, их сенсационность, жадность до публики – ей и ее кругу представлений

о поэте все это было очень чуждо. Она рассказывала мне, что Ахмадулина была у нее три раза, желая почитать ей свои стихи, но все неудачно: каждый раз у Анны Андреевны начинался приступ стенокардии. Был у нее и Окуджава, и вот его стихи и пение ей нравилось (а Новелла Матвеева почему-то нет). Ей он был интересен, и интересен секрет его успеха. Она вообще любила шансонье – еще со времен Вертинского. ”Вертинский – это эпоха”. Позднее она была очарована Галичем. Как-то я пришла к ней, году в шестьдесят пятом; вместо ”здравствуйте”, она сказала мне: ”Песенника арестовали”. Какого песенника? – ”Галича”. Дома я узнала, что этот слух уже широко гуляет по Москве, но, к счастью, он не подтвердился.

Вообще же про стихи ”молодых” она говорила, что все они кажутся ей слишком длинными.

Кто только в эти годы к ней не ходил! В домашней среде это называлось ”Ходынка” или ”Ахматовка”. Молодые поэты, старые девы, иностранцы всех мастей; ”космополиты, патриоты, москвич в гарольдовом плаще”... Бог знает кто считал своим долгом побывать у Ахматовой. Дело дошло до того, что на собственном автомобиле прибыл с супругой Леонид Соболев. Забыв все, держался как гардемарин и чуть ли не по-французски говорил (Ахматова ведь из морской семьи).

Иностранцев было неистовое количество. Кажется, начала эту серию я, приведя в ардовскую квартиру на Ордынке своего дядю – американского профессора биофизики и биохимии Юджина Рабиновича, приехавшего в 1960 году. Он всю жизнь преклонялся перед Ахматовой и мечтал с ней познакомиться. Он рассказал Анне Андреевне, что в эмигра-

ции, в тридцатых годах, когда казалось, что все уже кончено и никакой голос уже не будет услышан ни там, ни тут, он с друзьями по памяти, от руки составил "манускрипт" – полное собрание стихов Ахматовой. Она была глубоко растрогана.

К этой встрече еще готовились, у Ардовых убирали квартиру и вызывали меня в другую комнату, чтобы спросить, чем такого гостя кормить. Но скоро это стало бытом, иностранцы повалили валом, среди них оказалась масса скучнейших людей. Как-то, еще в сталинские времена, одна женщина, мой близкий друг, попросила: "Сводите меня к Ахматовой". Мне очень не хотелось ей отказывать, но я и помыслить не могла, как это я вдруг явлюсь с кем-то.* Теперь же я и сама привела к Ахматовой одного уж такого дурака-иностранца, что дальше ехать некуда. Так упрашивал меня этот дурак, что ему необходимо посмотреть на Ахматову. Он попросил автограф для своей жены и добавил: "Потому что у нее золотое сердце!" После его ухода я сказала: "Анна Андреевна, вы уж меня простите". Она засмеялась: "Да не знаешь, что ему и ответить. Хочется спросить: а что еще у нее золотое, может быть зубы?"

Но и иностранцы тоже не всегда оставались довольны своими визитами к Ахматовой. Ей было слишком интересно

---

* Незадолго до смерти Анны Андреевны я привела к ней свою любимейшую подругу: Ахматова уже слышала о ней не только от меня, как о великолепном ученом. Она напомнила мне, как Анна Андреевна приветливо взглянула на нее с спросила: "Вы тоже пишете стихи?" А услышав "нет", радостно и облегченно улыбнулась.

говорить о себе, – вернее, не о себе, а о том, что пишут о ней в иностранной печати. Все, что писалось о ней, о Гумилеве, вызывало в ней негодование. Она требовала от слушателей, чтобы приехав к себе домой, они занялись опровержениями и распространением ее версии. На это мне жаловались несколько моих знакомых иностранных славистов. Собственно говоря, они даже не могли понять, чего она от них хочет. Им казалось, что все, что она опровергает, совсем не заслуживает опровержения. Я помню только одну молодую англичанку, которая Анне Андреевне была интересна. Она писала работу на тему: "Образ Ахматовой в поэзии Гумилева". Анне Андреевне нравилась и эта тема, и эта девушка.

Побывал у Ахматовой и Паустовский, – неудачно. Он начал так: "Вот, собирался к вам ехать, не знал, какие штаны надеть". Ахматова обомлела. Паустовский смущенно пояснил, что он цитирует воспоминания Бунина о Чехове – как Чехов собирался ехать знакомиться с Толстым. Но это было совсем невпопад. Ахматова терпеть не могла Бунина, который написал на нее очень злую эпиграмму. ("В мое время это было всем известно: кто самый злой? – Бунин". "Бунин с поэтами даже никогда и рядом не сидел"). Чехова она, как я уже писала, совсем не любила, да и Льва Толстого не жаловала. К сожалению, я не записала ее разговоров о Толстом, но это она говорила многим. Паустовский же, считавший себя учеником Бунина, и представить себе не мог, что Ахматова сочтет его шутку плебейской. Передавая мне всю эту сцену, она с усмешкой пожала плечами. Как, должно быть, расстроился деликатнейший Паустовский!

При мне – много раньше – Ахматова читала "Повесть о жизни" Паустовского – первую книгу. Она сказала, что первые страницы замечательны. "Помните, как он приехал, потому что отец умер, и не может переправиться через реку, а мать мечется на другом берегу"; остальное не понравилось.

Исключительно высоко и проницательно Ахматова сразу же оценила Солженицына. Когда вышел номер "Нового мира" с "Одним днем Ивана Денисовича", и Солженицын стал необыкновенно популярен, он захотел побывать у Ахматовой, и она была этому очень рада. О свидании с ним она рассказывала в необычных для нее тонах. Ведь она привыкла к тому, что к ней приходят на поклон, а тут пришел человек, которому она сама готова была и хотела поклониться. Он читал ей свои стихи. На мой вопрос – хороши ли они – она уклончиво ответила: "Из стихов видно, что он очень любит природу". Не удовлетворило ее и то, что Солженицын сказал о ее стихах. Она ему читала "Реквием", он сказал: "Это была трагедия народа, а у вас – только трагедия матери и сына". Она повторила мне эти слова, со знакомым пожатием плеч и легкой гримасой. Солженицын бесспорно произвел на нее великолепное впечатление.Она спросила его: "Понимаете ли вы, что через несколько дней вы будете самым знаменитым человеком в мире, и это, может быть, будет самым тяжелым из всего, что вам пришлось пережить?" По ее словам, Солженицын был готов к испытанию своей будущей славой, но здесь интересен не его ответ, а ее вопрос.*

---

* Рассказывали мне и иную версию их разговора: будто бы в ответ на вопрос Ахматовой Солженицын расхохотался. Я от нее этого не слышала.

Ахматова была истинной христианкой, и как бы ее ни кружила слава, краеугольным камнем ее сознания было, что пред Богом все равны, и она лишь одна из многих. Мне трудно объяснить, как это уживалось в ней с пониманием своей исключительности. Но именно это делало ее столь привлекательной для самых разных людей.

К рассказу Солженицына "Матренин двор" Ахматова отнеслась восторженно. Она дала мне прочитать этот рассказ в рукописи, со словами: "Хочу сделать вам подарок". Другие рассказы Солженицына понравились ей значительно меньше, "Для пользы дела" совсем не понравилось. Также и пьеса; о пьесе она сказала: "Какая-то средневековая". Но в общем, кажется, это был единственный современный советский прозаик, кроме Зощенко, который ее по-настоящему интересовал.

В сентябре 1965 года я пришла на Ордынку с рассказом об аресте Синявского и Даниэля. Самый факт ареста был ей уже известен, но я рассказывала ей, в чем заключается обвинение. Услышав, что Синявский печатался за границей под псевдонимом Абрам Терц, она этому не поверила. Она сказала:"Мне в Париже приносили книги этого Терца. Я сказала: "Уберите от меня эту смрадную гадость!" Никогда не поверю, что это писал Синявский. Он был у меня и очень мне понравился. Синявский – это само добро, а Абрам Терц – это само зло. Нет, нет, это вообще не мог написать москвич. Сразу видно, что этот господин давно не был в Москве. Знаете, это ведь угадывается по деталям. Ну, может быть, он кончил здесь гимназию. Но с тех пор он в Москве не бывал". Когда я спросила, почему же за границей его рекламировали именно как советского гражданина, она ответила: "Господи,

да там такой на каждом углу сидит. Надо было объявить, что это не эмигрант, а советский гражданин, иначе его никто и читать бы не стал". А сидевшая рядом Надежда Яковлевна Мандельштам добавила: "Прекратите ваши рассказы, так как они повернуты на 180°. Эти слухи нарочно распространяют. Мы такое уже видели. Синявский тут не при чем".

Между тем вообще у Ахматовой был чрезвычайно высок интерес и вкус ко всему современному. Она охотно читала все новое, все, о чем говорили; интересовалась выставками, любила ходить в кино. После инфаркта возможности ее были ограничены, она стала очень грузной, и хотя ела чрезвычайно мало, никак не могла похудеть. Ходить ей было трудно, а по лестницам в особенности, каждый ее выход был осложнен необходимостью иметь провожатого, ловить такси. А до инфаркта она не пропускала хороших картин, и итальянский неореализм увлек ее, как и всех молодых. Она мне рассказывала, как полюбила кино с самого его детства, с маленького кинотеатрика, когда кино еще совсем не было искусством. Вот в таком кинотеатрике на Петербургской стороне показывали "познавательную ленту", про живопись, и под знаменитой картиной Репина был титр: "Пушкин читает, Державин слушает". И вспомнив это, она залилась своим милым смехом.

Современная критика раздражала ее многословием. А что другой раз писали о ней, так и поверить теперь трудно. Я уж не говорю о временах "постановления". Но в 1960 году я, придя вечером на Ордынку, застала Ахматову в сердечном приступе. Оказалось, что утром она прочитала машинопись статьи Алексея Суркова, назначенной быть послеслови-

ем к ее сборнику "Стихотворения" в Гослитиздате. Она рассказала мне, что там были, например, такие выражения: "У Ахматовой нехватило ума..." В печатном тексте послесловия эти слова исключены, но все оно наполнено подобными развязными пошлостями. И вот у этого человека "хватило ума", и главное, хватило цинизма после смерти Ахматовой возглавить комиссию по ее литературному наследию.

Но и более удачные статьи, да и лучшие критические образцы всегда казались Ахматовой излишне подробными. Она так любила все лаконичное. При мне она получила письмо из лагеря от какого-то заключенного, совсем не сведущего в стихах и малограмотного – впервые имя Ахматовой он узнал, прочитав несколько ее стихотворений в журнале "Москва", и прислал в редакцию очень своеобразное письмо, где была о ее стихах – помню точно – такая фраза: "И каким-то холодком веет от раненного чувства простоты". Ахматова была в восторге от этого определения: "Ни один критик не сказал обо мне ничего подобного".

Однажды Анна Андреевна узнала от меня, что моей дочке – восьмикласснице – задали в школе сочинение о Пушкине, и она начала его такой фразой: "От поэзии всегда ждешь невозможного, а Пушкин дает нам это невозможное". Эта фраза ей так понравилась, что она велела привести девочку, дала ей в руки свое золотое перо, свою большую записную тетрадку в переплете и сказала: "Вот, пожалуйста, сюда. Вы напишите, а я это сделаю эпиграфом к своей статье о Пушкине". Она говорила моей Ире "вы", хотя знала ее с рождения. Она и Алеше Баталову говорила "вы", хотя знала его с шести лет и очень близко. В день, когда она

впервые пришла к Ардовым, он раскапризничался, стал ковырять и расшвыривать по столу котлету, родители не могли его успокоить. "А я сказала: "Алеша, вы не любите котлеты?" Он остолбенел и стал есть".

Как-то мы с Анной Андреевной говорили о только что вышедшем романе Хемингуэя "За рекой в тени деревьев". Роман ей не понравился, мне тоже. Она сказала: "Дочка, кровавые бифштексы, изуродованная рука – все это безобразно". Я добавила: "У Хемингуэя любовь всегда подразумевалась, а тут все прямо: я тебя люблю, ты меня любишь. Ну, уж так-то мы и все умеем". Это ее очень рассмешило, и она потом часто вспоминала мои слова по другим поводам: "Так-то мы все умеем".

Анна Андреевна была противницей популярного литературоведения и особенно столь распространившегося к середине XX века жанра "Biographie romancée". Ей были интересны строгие исследования, построенные на документах, она читала их основательно, запоминала. Ее собственные литературоведческие интересы лежали в области пушкинианы. Я была несколько смущена, когда мой товарищ по работе в "Литературном наследстве" литературовед Л.Ланский решил ей послать свою специальную статью – он подготовил к печати письма Натальи Александровны Герцен к ее возлюбленному Георгу Гервегу. Мне показалось старомодным давать такую работу Ахматовой, словно она международный эксперт по женской любви. Но я ошиблась, статья Ахматовой понравилась, она просила меня поблагодарить автора, а о Наталье Александровне Герцен сказала: "Как хотите, а умереть от любви – это почтенно".

Судя по стихам, сама Ахматова много раз умирала от

любви. Но в жизни она умерла после нескольких инфарктов, после бесчисленных приступов тяжелой стенокардии, которые она сама переносила мужественно, как и все в своей "жестокой жизни". Я навещала ее во многих больницах, где ей пришлось лежать, в Москве и в Ленинграде, и всюду наблюдала, как ее любили окружающие. И Анна Андреевна очень этому радовалась. Она мне рассказывала, как санитарка ей расчесывает волосы и приговаривает: "Нюра буфетчица говорит, что ты хорошие стихи пишешь".

Анна Андреевна всегда была очень терпелива и непритязательна. Антонина Петровна Оксман как-то зашла к ней без звонка и – разбудила; огорченная, стала извиняться. Анна Андреевна ответила: "Ничего. Не сахарная". Тем более терпеливой она бывала в больницах, а уж чего там не навидаешься. Со смехом она вспоминала, как лежала в Ташкенте, в тифу, с огромной температурой и увидела, что по стене ползет клоп. "Сестра, снимите клопа!" – "Да что вы, больная, какой же это клоп, это просто маленький тараканчик!". А рядом с ней в ее последней больнице лежала теща редактора "Известий", и Анне Андреевне покоя не было от ее вечных капризов и претензий. И стоило кому-нибудь зайти к Ахматовой в палату, как она тут же демонстративно звала санитарку и требовала судно.

Отец Анны Андреевны рано умер – от первого приступа грудной жабы. Когда она расспрашивала врача о причине его смерти, врач сказал: "Вам эта болезнь не грозит. Во-первых, она не передается по наследству, а во-вторых, она почти никогда не бывает у женщин. Это болезнь служебных неприятностей". Судьба, однако, рассудила иначе, у Анны Андреевны была стенокардия.

Анна Андреевна любила путешествовать, бывать в новых местах, и советовала мне: "Нет ничего более полезного для нервов, чем побывать там, где никогда не был". Какое счастье, что под конец жизни ей выпало триумфальное шествие по Европе!

В последний раз я видела Анну Андреевну в Боткинской больнице, в середине февраля 1966 года. Она сидела в кресле в коридоре и ждала – не придет ли кто. Посетителей было то очень много, то никого. В тот день, кроме меня, никто не пришел, и я провела у Анны Андреевны больше двух часов. Она была окрылена сообщением из "Советского писателя" о том, что ее книгу "Бег времени" собираются переиздать. Ей понравилась идея художника В.Медведева дать на супер-обложку не весь портрет Модильяни, а только профиль из него. С большим удовольствием она выслушала мой рассказ, что у спекулянта ее книга уже стоит в десять раз дороже цены. Интересовалась подробностями о процессе Синявского и Даниэля. Рассказала мне, что шофер такси, который вез в больницу Анечку Каминскую, сказал: "Мы за Ахматову молиться будем". Расспрашивала о моем здоровье – я тогда тяжело хворала – и советовала не бояться больницы, говоря, что привыкаешь и ничего страшного.

Потом мы зашли в палату, и я вынула кое-что из сумки. Анна Андреевна посмотрела и обрадовалась: "Сок – вот спасибо! А то все почему-то яблоки приносят". (Яблоки ей было трудно жевать). Я побежала искать открывалку. Анна Андреевна отпила. Эта старая тучная женщина, сидевшая на высокой больничной кровати, в тапочках на босу ногу, все равно выглядела по королевски с чашеч-

кой сока в руке, а рядом сияли прекрасные нарциссы, которые накануне принес Кома Иванов. "Вишневый – это мой любимый". От этих слов я ушла в хорошем настроении, и ничто, ничто не подсказало мне, что я больше никогда ее не увижу.

*
* *

На последней подаренной ею книге – надпись: *"Милой Наташе Роскиной на память о многом. Анна Ахматова. 10 декабря 1965 года. Москва".*

Глава вторая

НИКОЛАЙ ЗАБОЛОЦКИЙ

Всю молодость я бормотала себе и дочери "Знаки Зодиака". "Меркнут знаки Зодиака над просторами полей... Спит животное Собака, дремлет птица Воробей..." Автор этих стихов был для меня фигурой нереальной. Я никогда ничего не слышала о нем лично. Он казался сгинувшим, ушедшим в небытие, – так же как и Олейников. "Страшно жить на этом свете, в нем отсутствует уют... Ветер воет на рассвете, волки зайчика грызут". Что-то знала я и о Хармсе, Введенском. Целая поэтическая струя в новой литературе, стихи, полные ума, таланта и мрачного блестящего юмора – все оказалось подрезано. То ли есть, то ли нет. Есть, да не прочесть.

И вдруг оказывается – Заболоцкий живой, реально живущий на Беговой улице, знакомый с какими-то моими знакомыми.

После смерти Сталина стихи Заболоцкого стали появляться в печати. Другие стихи, совсем другие, но тоже прекрасные. Однажды весной 1956 года мне позвонил мой друг Иван Игнатьевич Халтурин: "Немедленно приезжайте, ко

мне едет Заболоцкий и будет читать стихи". Но приехать я никак не могла, так как у меня у самой сидели гости. "Какое свинство, – долго пилила я Халтурина, – приглашать в последнюю минуту. Так порядочные люди не делают. Извольте теперь это поправить и повторить". – "Вы мне осточертели, – сказал наконец Халтурин. – Вот вам телефон Заболоцкого, звоните ему сами. Правда, позвоните, он, ей-богу, будет очень рад. Поэты ведь любят, когда их просят почитать".

Я колебалась недолго, позвонила, стала объяснять, что вот, мол, как мне обидно, что меня не было, и нельзя ли как-нибудь... Заболоцкий отвечал мне вежливо, но без приветливости, что он плохо себя чувствует, недавно перенес инфаркт. Я попрощалась, чувствуя себя уязвленной. Заболоцкий сказал: "Впрочем, оставьте мне ваш телефон. Когда я буду чувствовать себя лучше, я вам позвоню". Я назвала номер, уверенная, что он его не записывает. У меня появился новый повод бранить Халтурина, что он поставил меня в дурацкое положение. Вскоре я все это забыла. Жизнь я вела в ту пору трудную. Утром уходила на работу, а дочка моя восьмилетняя без меня возвращалась из школы, соседка по нашей коммуналке давала ей поесть. Вечером я возвращалась и не знала, за что хвататься: готовить обед на завтра, стирать, убирать. С ее отцом я уже несколько лет, как разошлась.

И вот как-то, через полгода, звонок по телефону. "Наталья Александровна, с вами говорит Заболоцкий. Разрешите мне к вам приехать". Я захохотала. Я была совершенно уверена, что меня разыгрывает кто-то из друзей, кто знал о моем несостоявшемся с ним знакомстве. Потом он гово-

рил мне, как ему понравился мой голос по телефону и этот смех, как ему показалось – вот существо жизнерадостное, вот его спасение, этот смех. "Нет, это действительно Заболоцкий, и я хотел бы с вами увидеться. Ведь вы же хотели со мной познакомиться, помните – вы мне звонили..." – "Да, но ведь вы мне отказали. Мне было очень обидно. Чего ж теперь... Да и вообще я сейчас занята. Я купаю дочку". – "Какое чудное занятие. Но ведь это недолго?" – "Долго. Сначала я ее выкупаю, а потом буду сушить". – "Значит, вы мне отказываете?" – "Да". – "Это невозможно! Вы мне необходимы. Это очень серьезно, поверьте. Мне необходимо с вами увидеться". Я сдалась. Через час он приехал, я надела пальто и спустилась с ним вниз, где его ждало такси – "зим". (Он любил ездить в больших машинах). Мы поехали в ресторан и он заказал ужин. По-видимому, он выпил много уже когда звонил мне, – я сама никогда не пью, никогда не имела дела с пьющими людьми и очень плохо разбираюсь в стадиях опьянения. Но я поняла, что он пьян, тяготилась разговором, который к тому же никак не становился интересным и хотела скорее приехать домой. Назавтра Заболоцкий позвонил мне на работу, в редакцию "Литературного наследства" и с такой же настойчивостью стал просить меня увидеться. Он заехал за мной за полчаса до конца моего служебного времени. Сотрудники редакции смотрели в окно, пытаясь разглядеть знаменитого поэта сквозь стекла "зима". Всем, мне в том числе, было весело. Мы поехали в другой ресторан, он заказал ужин, и тут мне опять стало скучно, потому что разговор не ладился, все было как-то неестественно, и еще потому, что он сразу стал пить, а мне это было неприятно. Еще накануне он внезапно

закрыл лицо руками и сказал: ”Боже, как я несчастлив! А вы?” – Я была смущена. Я видела много горя, но никогда не могла сказать о себе, что я несчастлива. Он умолк, и продолжался пустой ресторанный разговор – ешьте, пейте. И вот сегодня все то же самое – что вам заказать, стоило ли, право, ехать, и дочка сидит одна дома... Вдруг Заболоцкий вынул из кармана записную книжку, вырвал из нее листок бумаги, вынул из другого кармана авторучку, написал что-то и протянул мне. На листке было написано: ”Я п.В. б.м.ж.” Я легко поняла и посмотрела на него в каком-то ужасе. Он аккуратно сложил этот листок и положил в карман. Началось прежнее – отчего же вы не едите, неужели вы в самом деле ничего не пьете. И вдруг он снова вынул листок из кармана и показал мне. ”Это – серьезно”. – ”Простите, – сказала я, – насколько я знаю, у вас есть жена”. – ”Она уходит от меня, – ответил он, и на его глазах показались слезы. – Она полюбила другого”. – ”А кто он?” – ”Он тоже писатель”. – ”Хороший?” – глупо спросила я. – ”Хороший. Ну, не очень хороший, но все-таки хороший. Если бы вы знали, как я одинок!” Я молчала. ”Подумайте. Прошу вас, подумайте”.

Времени ”думать” у меня оказалось мало. Каждый день он приезжал за мной, ему уже казалось, что он влюблен безумно.

Я была измучена этими вечерами в ресторанах, после работы, его настойчивостью, вдохновлена его клятвами, его стихами. Он посвятил мне стихотворение ”Письмо”:

Унесу я твою золотую красу,
Унесу.

Унесу, чтобы птицы и те закричали в лесу,
Унесу.
Унесу, чтобы ветер запел, чтобы вихрь застонал,
Унесу.
Унесу, чтобы вздрогнул на небе созвездий обвал,
Унесу.

Ты — одно мое счастье, великое чудо мое,
Заодно и несчастье, и горькое горе мое.
И откуда взялась ты, откуда явилась ко мне
В день, когда уж висел я, болтаясь на тонком ремне!

Ты есть лучшая часть непогибшей моей,
несметенной души.
Напиши мне хоть слово одно,
хоть словечко одно напиши!
Не отец я тебе, не учитель тебе, не любовник,
не муж.
Не знаток я людей, не художник идей,
и неловок к тому ж.

Я — забытый ребенок, забытый судьбой, позабытый
в осеннем саду.
Озираясь с тоской, спотыкаясь с мольбой,
лишь к тебе я бреду.
И тебя увидав, и тебя повстречав, и упав на пути
пред тобой,
Слышу: крылья растут! Слышу: трубы поют у меня,
у меня за спиной!

И теперь я тебя никогда, никогда не отдам никому,
Никому.
Пусть опять меня гонят, опять заключают в тюрьму,
Никому.
Пусть ломают мне кости, бросают в могильную
тьму.
Никому.
Вопреки всем законам людским, вопреки человечью
уму –
Никому. *

Однажды он потребовал окончательного ответа. Мне было тяжело. Я сказала: "Если окончательно – нет". Он ответил: "Вы подписали мой смертный приговор". Я страшно испугалась, просила его подождать, но после нескольких дней непрерывных объяснений – согласилась. Пить он перестал еще раньше. Я как-то сказала: "Вы же пьете не переставая, разве еврейская девушка выйдет за вас замуж?" Он отставил бокал и произнес торжественно: "С этой минуты я бросаю пить".

Брак его в тот момент не был еще расторгнут ни официально, ни фактически. С Екатериной Васильевной он советовался, жениться ему на мне или нет. Все это было достаточно странно, но я была к этому слепа. По словам Заболоцкого,

---

* Это стихотворение не было опубликовано. Впоследствии, как-то Заболоцкий сказал мне, что оно ему не нравится и что он не собирается его печатать. И добавил: "Я его хранить не буду, а ты – сохрани".

Екатерина Васильевна была сначала в ужасе от его решения, но потом, когда он дал ей прочесть одно мое сочинение (автобиографическую повесть о детстве, о смерти матери и гибели отца), она поверила, что я по крайней мере не какая-нибудь авантюристка. Детей его я ни разу не видела, и о них он рассказывал мало. "Дети у меня обыкновенные". Как было устроить нашу жизнь в житейском, квартирном смысле, как объединить наши столь разные существования – все было неясно. Тут он мне сказал, к кому уходит от него жена. Это имя было мне отлично знакомо. Василий Семенович Гроссман – близкий друг моего отца. Когда мой отец пропал без вести (и было ясно уже, что это означает), Василий Семенович отыскал мой адрес и прислал мне, тогда незнакомой ему четырнадцатилетней девочке, письмо, в котором справлялся, не может ли он мне чем-нибудь помочь – деньгами, книгами. Так не поступил ни один из друзей моего отца, хотя их было много. После войны я бывала у Гроссмана и относилась к нему с глубочайшим уважением и любовью. И Екатерина Васильевна заочно стала мне симпатична – это чувство сохранилось навсегда.

Пока все кипело в сердцах пятерых людей (Василию Семеновичу предстояло оставить свою жену Ольгу Михайловну), пока все еще по существу оставалось неопределенным, Николай Алексеевич стал всем говорить, что женат он на мне и, взяв небольшое количество необходимых вещей, переехал в мою комнату в коммунальной квартире на Первой Мещанской.

Ссориться мы начали буквально с первого же дня. Как только был исчерпан предыдущий предмет обсуждения, – выхожу я за него замуж или нет, – этим предметом стала

политика. Я была сравнительно молода (двадцать восемь лет), мысли свои высказывала запальчиво. Заболоцкий отвечал мне спокойно и твердо: "Для меня политика – это химия. Я ничего не понимаю в химии, ничего не понимаю в политике, и не хочу об этом думать".

По молодости, или по глупости, но я поняла его слова буквально. Если он не понимает – я ему объясню.

Дни-то какие были – конец октября, ноябрь 1956 года... Венгерские события. Близкий мне человек, посвященный мною в перипетии моего знакомства и романа с Заболоцким, С.А.Макашин говорил мне: "Странные вы оба. Единственное, что сейчас может интересовать людей – это революция. Я не ждал бы телефонного звонка, я жду только выпуска последних известий. В такие дни, по-моему, все личное должно быть забыто. Впрочем, вы с ним, видно, устроены иначе".

Если он не понимает – я объясню... И вот я вдохновенно разглагольствовала о том, что без политики ничего не существует, что наша жизнь пропитана ею; несложными примерами я подкрепляла свои несложные мысли. Заболоцкий отмалчивался, но, видно, думал что-то свое. Как-то мы шли с ним вверх по Кузнецкому – из Книжной лавки ко мне на Мещанскую. У нас в руках были пакеты с только что купленными книгами: первый "День поэзии", сборник стихов Мартынова. Вдруг Николай Алексеевич остановился и спросил меня: "Скажи, Наташа, а ты не занимаешься ли химией?" Я засмеялась, и мы пошли дальше.

Войдя в комнату, Николай Алексеевич положил на стол пакеты и, не дав мне снять пальто, сказал: "Подойди ко мне". Я подошла, он обеими руками сжал мне лицо и, за-

ставляя смотреть в глаза, с какой-то жестокой торжественностью сказал: "Наташа! Я прошу тебя дать мне честное слово, что ты не занимаешься химией. Ты не занимаешься тем, что я называю химией. Честное слово".

Я охотно дала ему это слово. Разумеется, я не занимаюсь тем, что он называет химией. (Вообще он от меня вечно требовал каких-то клятв. Ничего нельзя было просто обещать, всегда надо было клясться. Я вспомнила это, когда он написал стихотворение "Клялас ты до гроба/Быть милой моей".)

Вечером того же дня мы поехали кататься, – как он любил, в большой машине. Мы сидели рядом, соединенные чем-то значительным и разъединенные чем-то еще более значительным. Случайный прогулочный маршрут привел машину к клиникам и институтам на Пироговке. Около скверика, где памятник Пирогову, Николай Алексеевич предложил остановиться. Мы вышли из машины, чтобы пройтись по скверику. Та осень была удивительно теплой, и живы были еще какие-то нетронутые морозом цветы. Шофер охотно ждал нас, опустив голову на руль. "Интересно, что он о нас думает – кто мы, зачем мы тут, кем мы приходимся друг другу? – задумчиво произнес Николай Алексеевич. – Об этом шофере я напишу стихотворение". Я не знаю, когда оно было написано – я прочла стихотворение "Последняя любовь" уже в печати, в журнале "Москва".

Мы, действительно, чувствовали себя бездомными, как и описано в этом стихотворении. Жить у меня было ужасно неудобно. Откладывая неприятные заботы, Николай Алексеевич подал заявление в Литфонд и попросил предоставить ему две путевки в писательский санаторий в Малеевке –

ему и его жене... В этот момент он забыл мою фамилию. Он позвонил по телефону из Литфонда мне на работу и спросил: "Наташа, прости, как твоя фамилия?" – Я спокойно ответила: "Моя фамилия Роскина". – "Да, правда. Я чувствовал, что что-то не так. Я написал – Соркина". Все присутствовавшие, конечно, хохотали, я в том числе. Не смеялся только С.А.Макашин. Он сказал: "На фронте так женились". Фронт – близость гибели, какая-то неистовая спешность радости, какое-то безумное смешение горя и счастья – это и была душа Заболоцкого.

В ожидании путевок продолжалась неустроенная жизнь. Знаменитый поэт выходил умываться на коммунальную кухню или терпеливо ждал, пока продавщица бакалейного отдела Шурка окончит стирку и освободит коммунальную ванну. Заболоцкий брился, а его выхода уже ждала Шуркина тетка, старуха сильно за семьдесят, именуемая тем не менее не иначе, как Дунька. В квартире жило около двадцати человек – шесть комнат, и в каждой семья. Особенно интересовался Заболоцким один интеллигент, сын бывшего хозяина этой квартиры. Он очень любил поговорить с умным человеком. Я – при Заболоцком – спросила его, к слову, читал ли он когда-нибудь Шекспира. Он ответил: "Конечно, читал. Рассказы его читал, только забыл уже. Один, помню, хороший – про машиниста паровоза".

В комнате моей стоял узкий диван, на котором спала я, и на ночь расставлялась раскладушка для Иры. Теперь на этой раскладушке спал Николай Алексеевич, а Иру клала у себя одна из наших соседок, сердобольная тетя Мотя. Ире было хорошо у тети Моти, потому что там вечно работал телевизор, но все-таки отчасти обидно.

Наконец, наконец, нам сообщили, что в конце ноября мы уедем в Малеевку.

И именно в этот вечер мы поссорились. Мы заспорили о преимуществах капитализма и социализма. Николай Алексеевич не пожелал продолжать разговор при девочке и дождался пока она легла спать. Тогда он педантичным движением заложил закладку в книгу, которую демонстративно читал. Повернувшись ко мне, он сказал: "Мы с тобой так расходимся во взглядах, что оставаться вместе не можем. Я ухожу".

Он стал собирать свои вещи. Их было совсем немного, и он медленно и обстоятельно укладывал в портфель бритвенный прибор, книги и прочее. Я молча следила за ним, ошеломленная. Это была первая серьезная ссора, и повод ее мне казался вполне уважительным. Потом он не раз упрекал меня, что я его не удерживала. "Это было так жестоко". А я просто думала, что удерживать бесполезно.

Собравшись и одевшись, он некоторое время постоял, держа в руке шляпу, потом сказал: "Прощай". – "Прощай", – ответила я. Но Николай Алексеевич не ушел, а сел за стол и закрыл лицо руками. На глазах у него были слезы. Он стал меня упрекать, что я могу так легко его отпустить, я стала его упрекать, что он так легко угрожает мне уходом, и мы помирились.

Но можно ли было помириться? Разве не главное в близости людей – заветная черта, которую не перейти влюбленности и страсти?

В сущности, мы оставались чужими, но оба возлагали надежды на свой отъезд.

Перед отъездом Заболоцкий подарил мне прекрасное

ожерелье из аметистов. Крупные фиолетовые ягоды были прерваны одной слезкой. Я все время их носила, а больше у меня, собственно, не было ничего, и я предчувствовала, что среди малеевских дам буду, так сказать, "не одета". С первой минуты нашего появления в этом свете я ощутила пристальное внимание к своей персоне. Надо было идти в столовую – огромный зал чуть ли не на двести человек, с глупыми жирными колоннами, с высоким зеркалом в глубине. Я заглянула и отпрянула. Мы немного постояли, посмеялись, Николай Алексеевич взял меня под руку и ввел в этот зал.

Между прочим, я здесь заметила, как хорошо он был воспитан, как приятно держал себя за столом и как непохож был этим на наших соседей. Переводчица Р. за каждой трапезой требовала, чтобы это унесли и принесли другое, а другое приносили недостаточно горячим, и она добивалась новой перемены. "Нечего их баловать", – говорила она. Переводчик Л. взял с вазы мандарины, поставленные на шестерых, и положил себе в карман, говоря: "Ничего, еще дадут". Писатель Б. всегда приходил разгоряченный, только от чернильницы, и не обращая внимания на чей-то уже начатый разговор, бормотал, весь встрепанный, что-то про свою работу об Ильиче. Благовоспитанный Заболоцкий был от них бесконечно далек и, хотя никогда не забывал два раза в день осведомиться у послеинфарктного Щипачева – "Как ваше самочу?", – в душе относился ко всем этим людям точно так же, как к Шурке, Дуньке и тете Моте.

В Малеевке жили тогда именитые личности, к ним приехала машина из правления Союза писателей. На машине прибыла секретарша с заданием: получить у неко-

торых писателей подписи под воззванием к писателям-венграм.

Заболоцкого не было в списке тех людей, к которым секретарше надлежало обратиться. Но я увидела, что он не только не рад, но, напротив, задет этим и озабочен. "Что же произошло, как ты думаешь? Почему ко мне не обращаются?" Я молчала, перебирая свои аметисты. Ему всегда нравился легкий звон, нежное похрустыванье этих темносиреневых зерен. Сначала мне хотелось его успокоить, я сказала, что наверно просто забыли о нем, не знали, что он здесь. "Как же не знали? Известно, что я здесь". Тогда я не выдержала и сказала резко: "Я тебя не понимаю. Мне кажется, тебе просто повезло, ты можешь легко избежать унижения. А ты беспокоишься, что не попал в обойму"...

Странно – я очень хорошо помню эти свои слова и совсем не помню его ответа. Это часто бывает с людьми, когда они взволнованы. Но я думаю, что я не помню по одной только причине – что он не сказал мне ничего. Память у меня достаточно хорошая.

Еще один эпизод из малеевских. С Николаем Алексеевичем кокетничала одна очень милая и хорошенькая женщина, и он тоже кокетничал с ней. Она старалась присоединиться к нам в наших прогулках и беседах за общим столом, а он отвечал ей серией шутливых стишков:

Это кто бежит за нами
В узеньких штанишках?
Это Мима бежит за нами
В узеньких штанишках.

Варьировались эпитеты к "штанишкам" (она любила носить брюки), варьировались глаголы – что-нибудь вместо

"бежит", но остальная форма сохранялась. Все это было очень мило, но иногда вызывало мою ревность. Однажды эта женщина спросила: "Почему вы уходите? Вы уйдете, Николай Алексеевич сразу уйдет за вами, а мне хочется с ним побыть". Я ответила: "А я не хочу, чтобы он с вами был, я его ревную к вам". Мима не захотела принять мои слова всерьез и пошутила – вы, мол, простой советский человек, должны знать, что ревность есть пережиток капитализма. На это я с раздражением ответила: "Я человек не простой и не советский".

Боже! Что было! Я никогда не забуду, как Николай Алексеевич, бледный от гнева, кричал на меня: "Ты просто сошла с ума! Я немедленно должен отсюда уехать! Ни на день не останусь! Да ты понимаешь ли, что ты сказала! Ты, жена советского поэта, заявляешь, что ты не советский человек! Нет, завтра же я отсюда уезжаю!"

Что же он, думал, что в своей келье Мима напишет на него донос ужасный? Не думал он этого вовсе. Все мы давно знали эту очаровательную, интеллигентную женщину. Не думал он этого, а вот – боялся.

Страх.

Даже не страх, а ужас.

И ни в коем случае я не хочу сказать, что Николай Алексеевич был мелким трусом. Я не хочу сказать, потому что я совсем так не думаю. Напротив, я думаю, что весь кошмар нашей жизни заключается не в том, что боятся трусы, а в том, что боятся храбрые.

И в облике Николая Алексеевича меня больше всего поражала не готовность его с чем-то смириться, от чего-то отстраниться, написать, если придется, "Горийскую симфо-

нию". Но меня поражал тот – не страх, а именно ужас, ужас всемирно-исторического масштаба, ужас, который сокрушил целое поколение и, увы, Заболоцкого в том числе.

Однажды, в минуту душевного растворения он все-таки сказал мне одну фразу на эту тему. "Я только поэт, и только о поэзии могу судить. Я не знаю, может быть социализм и в самом деле полезен для техники. Искусству он несет смерть".

*

* *

Да, эта смерть не раз была к нему близко. Он редко и мало рассказывал мне о годах своего заключения, но один эпизод рассказывал даже несколько раз, и с большим волнением. Он говорил мне, что начальник лагеря спрашивал его непосредственного начальника: "Ну, как там Заболоцкий – стихи пишет?" – "Нет, – отвечал начальник. – Какое там. Не пишет: больше, говорит, никогда в жизни писать не будет". – "Ну то-то".

И когда он в лицах изображал мне разговор этих двух начальников, в глазах его было что-то зловещее.

Выступая с речью на похоронах Заболоцкого, Борис Слуцкий передал следующий разговор, будто бы бывший у него с Заболоцким в Тарусе. Они проходили мимо какой-то стройки, и Заболоцкий сказал: "Я прошел все этапы строительства. Я был и землекопом, и плотником, и чертежни-

ком, и прорабом". И будто бы эти слова он произнес с каким-то удовлетворением.

Но я вспоминаю это "ну то-то" – и не верю Слуцкому.

У Слуцкого есть еще такой рассказ о Заболоцком: Италия, светит солнце, Заболоцкий сидит в гондоле и улыбается своей доброй улыбкой. Мое восприятие Заболоцкого таково, что я не могу тут верить ни одному слову, хотя Италия, действительно, существует, там почти всегда светит солнце, Заболоцкий там, действительно, был и может быть даже в гондоле и улыбался. "Добрая улыбка" – эти слова могут быть сочтены слащавыми, но они же могут быть и великими словами. Однако ни в том, ни в другом смысле они не относятся к Заболоцкому.

Кстати, о его поездке в Италию. В журнале "Октябрь" (1959, март) напечатана статья В.Перцова "Да, мы оптимисты!.." Вспоминая встречу советских и итальянских поэтов в Риме в октябре 1957 года, Перцов цитирует выступление Анджелло Рипеллино, профессора русской литературы в Римском университете. Рипеллино имел трехчасовой разговор с Заболоцким, который в конце этого разговора воскликнул: "Я оптимист!" "Он, – сказал Рипеллино, – поэт, принадлежащий лучшей русской традиции, и вот в беседе со мной, иностранцем, Заболоцкий озабочен тем, чтобы произнести магическое слово "оптимизм", которое мы уже слышать не можем..."

Все характерно в этом эпизоде – и вынужденность Заболоцкого говорить подобные слова, и готовность его вынужденности подчиниться; характерна и полярная противоположность этих слов его истинной натуре.

Вот какой он был оптимист. Заговорили о возможной

войне – с какой-то страшной реальностью он стал представлять мне ее масштаб, а о себе сказал: "У меня тут есть погребок (он указал на нижние ящики большого павловского буфета), я буду пить не переставая". Я сказала: "Неужели у мужчины во время войны другого дела не найдется? И потом, что же будет со мной?" Он ответил: "Ты молодая, может еще и удерешь". Никого он не обнадеживал, ни себя, ни близких, никакой пощады не ждал ни от истории, ни от своей судьбы.

Тут я отвлекусь и расскажу другой разговор, с другим поэтом, в другие годы. Один из несчастных репатриантов, художник Николай Гущин рассказал мне о встрече с Маяковским в Париже, в 1928 году. Во время революции молоденький художник Гущин оказался на Урале, где распространял большевистские листовки, поэтому вскоре ему пришлось бежать от Колчака. Занесло его на Дальний Восток, а оттуда, морем, он попал в Европу – в Париж, где, вероятно, он был счастлив, как всякий художник. ("Хорошо голодать в Париже", – говаривал Роберт Рафаилович Фальк.) Но тянуло домой, тянуло, – и тут, совершенно неожиданно для себя, Гущин обнаружил, что советское правительство, те самые большевики, отказывает ему в въездной визе. Гущин волновался, добивался, сходил с ума, – так прошло года четыре. И вот, встретив в кафе своего старого приятеля по дореволюционной художественной Москве, Маяковского, Гущин кинулся к нему с рассказами о своих хлопотах. Маяковский обдал его ушатом холодной воды. Он спросил: "А зачем тебе туда ехать?" Надо было знать этого пылкого, чистейшего человека, в котором священные понятия, как искусство, родина, честь, светились неизменным светом.

Не остыло это свечение и в той страшной саратовской коммуналке, куда упекли его после репатриации 1946 года, – в восьмиметровую конуру, под надзор и укусы клопов, соседей и КГБ. (Мы знали, что у вас нельзя высказываться, но надеялись, что после войны станет легче. Мы знали, что у вас нельзя купить одежду, но думали, что на первое время хватит, а потом она ведь должна появиться. Мы знали, что у вас трудно во многих отношениях, но нам казалось – мы будем счастливы уже тем, что вокруг все говорят по-русски. Но мы не знали и не могли знать, что такое коммунальная квартира. – Так говорил мне один из репатриантов той же группы.) "То есть как – зачем? – воскликнул изумленный Гущин. – Работать! Для народа!" Маяковский мягко коснулся его руки и сказал: "Брось, Коля! Гиблое дело".

Гиблое дело!

Не следует и начинать речь о Заболоцком, если не иметь намерения сказать, что его судьба, его душа и его поэзия были исполнены такого трагизма, который не может быть смягчен никакой гондолой, никаким Орденом Трудового Красного Знамени, словом, ничем из того, что под конец жизни начали ему подбрасывать, и к чему он, к сожалению, относился всерьез, с явным стремлением держать себя как подобает "выдающемуся советскому поэту". Сие последнее – отсутствие скепсиса к этим вещам – есть, на мой взгляд, не смягчение, а усугубление его трагической беды.

...По вечерам в Малеевке мы выходили на прогулку. Дело было в декабре, и после чая уже совсем, совсем темнело. Мы ходили по раз заведенному кругу, иногда к нам

присоединялся поэт и переводчик Семен Израилевич Липкин. Он много рассказывал про войну, про то, как он выходил из окружения. Если Липкина с нами не было, то говорил, конечно, Николай Алексеевич. Я всегда просила его рассказать "про себя". И он рассказывал, как его с холода вшвырнули в камеру, и он сначала даже не понял, что тут происходит: в камере было очень много народу, и все совершенно голые. "Я почувствовал, что должен быть, как все, – сказал он, – я вошел, поздоровался, тоже разделся, сел и скоро мне все стало ясно. Уже через полчаса около моих ног оказалась лужица. В камере не было никакого источника воздуха. Мы сидели не шевелясь, голые, и задыхались".

Или рассказывал он, как на каком-то пересыльном пункте всех заключенных высадили из вагонов – их должны были пересадить в другой поезд. И всем было приказано стать на колени. Чтобы было виднее, если кто-нибудь попытается бежать. Так, на коленях, они простояли несколько часов.

Он рассказывал про голод, холод, про другие тяготы, про издевательства, какие только может создать воображение садиста, про вещи, только услышав которые человек перестает есть и спать; он мне рассказывал, что как только его арестовали в 1938 году, с ним сразу сделали нечто такое, от чего тут же пришлось отправить его в лазарет; и обо всем этом он говорил ровным тоном, не меняя выражение. И только когда он вспоминал, как начальник лагеря сказал – "не пишет, ну то-то" – в глазах его появлялся злой, отчаянный огонь.

*

* *

И это мне понятно, ибо ни к чему на свете не относился он с таким благоговением, как к стихам, и ничто на свете не могло сравниться для него со смыслом и назначением его поэтического призвания.

Он писал много стихов шуточных, на случай, ежедневно переводил, но эта ежедневность общения с поэзией никогда не лишала его приподнятости. И странная вещь – хотя он очень высоко ставил себя, это почему-то совсем не воспринималось как нескромность, а напротив, как еще одно выражение строгости его вкусов.

Он был весьма высокомерен, всех не-поэтов считал людьми ниже себя. Но почему-то никому на свете я не прощала этого так легко, как ему.

Может быть, потому, что во всем, что не касалось поэзии, он оценивал себя очень скромно. Например, в начале нашего знакомства я спросила его, какие он знает языки. Он отвечал, что, к сожалению, он совсем не знает языков. Но постепенно, в разных беседах выяснилось, что немецкий он знает (во всяком случае, для перевода "Ивиковых журавлей" подстрочник ему не понадобился), что по-французски он понимает (а когда он делал свой пересказ для детей "Гаргантюа и Пантагрюэля" – по-моему изумительный, – то занимался и старофранцузским) и что много переводя с грузинского, он изучил язык достаточно, чтобы всегда контролировать качество подстрочника.

Он интересовался историей, особенно русской, как политической, так и бытовой; как большинство ленинградцев, любил старинное прикладное искусство и знал в нем толк. При мне он купил большой комплект "Русской старины", радостно расставил журналы по полкам и, удовлетворенно оглядывая аккуратные ряды переплетов, сказал: "Вот если бы я все это прочел — стал бы образованным человеком".

Но что касается поэзии — тут он никогда не признавал ничьего превосходства даже в самых частных вопросах. Уступить, вернее сделать вид, что уступил, он мог только из вежливости. Если он спрашивал мое мнение о каком-нибудь своем стихотворении, и я позволяла себе высказать отрицательное суждение об одной строчке или слове, он хмурился и возражал: "Почему тебе не приходит в голову, что это недостаток твоего воспринимающего аппарата?" А когда я целиком отвергла одно его стихотворение ("На рейде" — 1949, напечатано в 1956), — то есть что значит "отвергла" — просто сказала, что оно мне не нравится — он мне ответил, что нам надо расстаться, так как видимо мы совсем друг друга не понимаем. Я расхохоталась, и ему стало неловко, он сделал вид, что пошутил. Я совсем не люблю это стихотворение. Тут и "акварель", и "тройное созвучие октав", и "архитектура". "И звезды еле-еле тлели". Заболоцкий был изумлен, что о его стихах я могу говорить так холодно-критически. Он сказал: "А Екатерина Васильевна любит *все* мои стихи. Для нее каждое мое стихотворение — это воскресение".

Вспоминаю, однако, первый день нашего знакомства, первый час. Мы ехали в машине, я говорила ему о своей

любви к его стихам. Я думала, что ему будет больно, если я ограничусь восторгами по поводу моих любимых "Столбцов" и промолчу о новых стихах. Я назвала "Портрет" ("Любите живопись, поэты!"). Заволновалась: "Безумной нежности припадок,/Предвосхищенье смертных мук..." Заболоцкий холодно выслушал меня и сказал: "Да, это мне говорили многие ограниченные люди".

Потом, когда я напомнила ему этот разговор, он ответил: "Я тогда думал совсем о другом. Я думал: "Какие у нее приятные духи. Я на ней женюсь".

В разговоре наедине, много позже, он сказал мне, что считает себя вторым поэтом двадцатого столетия – после Пастернака. (Блока он, во-первых, не любил, во-вторых, не признавал, и в-третьих, считал его поэтом девятнадцатого века). Сказал он это без всякой аффектации и даже както застенчиво, делая мне, близкому человеку, интимное признание.

К Пастернаку Заболоцкий относился благоговейно, как к самой поэзии. Помню, как он осторожно раскрыл книжку, подаренную ему Пастернаком, любовным движением вынул из нее записочку и показал мне из своих рук. Пастернак приглашал обедать и просил захватить "Безумного волка".

Из всего написанного им Заболоцкий более всего ценил "Безумного волка". Он мне сказал, что считает "Безумного" высшим достижением своей поэтической и философской мысли, своим "Фаустом".

По словам Заболоцкого, так же относились к этой поэме и Пастернак, и друзья его поэтической молодости. (Поэма не увидела света при его жизни – только и радости было

в отзывах друзей...). И, разумеется, Заболоцкий высоко ценил свои "Столбцы". Я считаю, что этот факт решительно никем не может быть оспорен. Думаю, что только с чувством отвращения он прочел бы слова Вл. Орлова (в предисловии к "Стихотворениям", изданным в Гослитиздате в 1959 году, после смерти поэта), будто Заболоцкий "обрел в себе волю и мужество решительно и бесповоротно отойти от своих первоначальных заблуждений".

Трудно, на мой взгляд, нанести большее оскорбление Заболоцкому, как упрекнуть его или похвалить его за отказ от поэтических исканий его молодости. Именно эти искания, эти годы провозглашения его поэтической личности остались в его памяти лучшими. Именно ими он безгранично дорожил, и отказываясь судить о "политике", всячески устраняясь от нее, он сознательно строил свой духовный мир на верности и твердости своих поэтических идеалов. В этом была и сила его, и его постоянство, и он сам. Его азарт (он был азартен и страшно самолюбив), его стремление быть крупным во всем, что он делал, конечно, увлекали его, и много души он вложил в свою поэтическую работу после возвращения из лагеря, в том числе и в переводческую. Как-то он мне сказал, что понял: и в тех классических формах, к которым он стал прибегать в эти годы, можно выразить то, что он стремился раньше выразить в формах резко индивидуальных. Эта идея, видимо, поддерживала его. Помогала ему и его страстная и давняя любовь к классической поэзии. Все это, как мне кажется, были лишь самоутешения в той беспрецедентной в истории мировой поэзии эпохе, когда партия и правительство диктовали поэту все формы существования, в том числе и поэтические.

Меня, да и многих других, конечно, всегда интересовало, в какой именно мере ему мешала цензура, что именно он делал добровольно, а что – по принуждению. В стихотворении ”Журавли”, например, есть такие строки: ”И частица дивного величья/С высоты обрушилась на нас”. Николай Алексеевич рассказал, что раньше у него было не ”дивного”, а ”Божьего”. ”Ну, это, конечно, цензура вам поправила?” – спросила его при мне Лидия Корнеевна Чуковская. – ”Нет, я сам поправил”. Когда мы остались наедине, я стала спрашивать, зачем же он исправил: ведь ”Божьего” – лучше? ”Да нет, это совершенно одно и то же. Вспомни значение слова диво в древнерусском языке”. Я перестала спорить, но тут же при нем взяла подаренный им экземпляр ”Литературной Москвы” (с надписью: ”Наташа – Тебе”) и исправила, сделала ”Божьего”. Он благосклонно молчал.

Люди, которые знали его дольше, чем я, несомненно, могут привести много таких конкретных примеров. Но ведь дело совсем не в них. Установить меру удушения его таланта, вообразить, кем бы он мог стать в ином обществе – невозможно. Невозможно сравнить то, что было, с тем, чего не было. Разумеется, мы не читали бы ”Горийской симфонии”, напечатанной во ”Второй книге” в 1937 году, но, может быть, мы не читали бы ”Иволги” и ”Противостояния Марса”. Впрочем, я не берусь здесь судить о поэзии Заболоцкого, а хочу сказать только одно. Общество, призванное, казалось бы, оберегать своего поэта, всегда делает все возможное, чтобы сократить и без того короткое расстояние между поэтом и его смертью. Оно же создает питательную среду для его таланта, насыщая ее трагизмом неслыханной силы.

Как писал еще Кюхельбекер: "Горька судьба поэта всех племен,/Тяжеле всех судьба казнит Россию..."

Всех племен и всех веков...

Но в такие проблемы он не любил углубляться, и это тоже было для него химией. Ему были глубоко чужды писатели-социологи, которыми я тогда сильно увлекалась: Герцен, Щедрин. "Да ты пойми, они же не художники, не художники", – повторял он, повышая тон. Слово художник было вообще весьма важным словом в его лексиконе. Я дерзко отвечала ему, что он их не читал. Правда, он не любил их читать, и если я все-таки уговаривала его прочесть что-нибудь, совершенно бесспорное, из этих авторов (куски из "Былого и дум" или мою любимую сказку Щедрина "Орел-меценат"), он, – быть может из запальчивости спорщика, – утверждал, что остался совершенно равнодушен.

И, подходя к литературе с чисто эстетическими критериями, он удивлял меня твердым отрицанием Блока (тоже вечная тема наших споров) или всей прозы Пушкина. Впрочем, это, по всей видимости, частности. А вот холод его к литераторам, живущим в политической борьбе, к сатирикам, публицистам, к тем, кто интересовался "химией", – это, конечно, явление глубоко характерное для Заболоцкого. Он словно забыл, какую мощную разоблачительную силу он сам проявил в своих "Столбцах", сколь социален он был в "Торжестве земледелия".

Между прочим, в своих домашних разговорах он не давал почувствовать эту силу. Любимым предметом его шуток всегда были смешные житейские случаи, безобидные слабости людей. Он обладал совершенно очаровательным чувством юмора – наивным и в то же время изысканным. Мы со-

бирались идти обедать в "Националь" и велели моей дочке переодеться. Она спросила, куда мы идем, но мы, чем-то занятые, не отвечали ей. Она переспросила, и он без всякой улыбки сказал ей: "В конюшню". Сам он был очень смешлив, и в самую мрачную минуту мне удавалось его рассмешить анекдотом и отвлечь шуткой. Иногда, начав рассказывать друг другу что-то смешное, мы хохотали часами. Так однажды мы стали вспоминать "Гекльберри Финна" и буквально помирали со смеху, наперебой цитируя монолог отца Гека: "И это называется правительство..."

Он обожал ранние рассказы Чехова и читал мне вслух свой любимый рассказ "В Париж". "Что я с французами буду делать? На них глядючи, я со смеху околею! При моем характере я их всех там перебью!" Я обнаружила недостаточное знание ранней чеховской юмористики, он забивал меня цитированием подобных мест. А моя дочка ходила с ним в театр Образцова и вспоминает теперь, как ей было там с ним приятно, с каким интересом он смотрел детский спектакль и как славно смеялся. А я вспоминаю, с каким интересом относился он к моим рассказам о ней, читал мои материнские дневники и страшно забавлялся ее детскими делами и высказываниями. Все про детей ему было интересно, потому что у него было чем-то близкое им чувство юмора. Он постоянно цитировал стишок одной девочки:

Умру.
И в русскую землю зароют меня.
Французский не буду учить никогда.
В немецкую книгу не буду смотреть.
Скорее, скорее, скорей умереть!

И каждый раз охотно смеялся.

За столом в Малеевке он объявил конкурс на рифму к фамилии Бек и, конечно, сам же и остался победителем этого конкурса, сказав: "Бек – любитель кулебек".

Однажды к нему подошла Вера Инбер и сказала: "Я слышала, Николай Алексеевич, что вы тут замечательные стихи читаете". Он отвечал: "Да уж какие, Вера Михайловна, у меня стишки. У меня-то ведь стишки самодельные!"

Думаю, что он хотел не только съязвить, дав ей понять – у кой-кого стишки фабричные, но и выразить этим, что они ему даются с трудом. Легко бросая стихотворные шутки, мгновенно сочиняя экспромты, он постоянно жаловался на слабость своих версификаторских способностей, на технические трудности, он обдумывал размеры с редким для поэта рационализмом и частенько заглядывал в словарь рифм. Этот словарь был при нем всегда. Липкин попросил его на денек, но получил отказ: "Эта книга не выходит из моей комнаты".

Интересно, что любимой шуткой Ардовых был рассказ о том, как, в самом начале знакомства, уходя из дому и оставляя Анну Андреевну в своем кабинете, Ардов сказал: "Если захотите поработать, то, пожалуйста, вот словарь рифм". Ахматова расхохоталась – и прониклась симпатией к ардовскому чувству юмора.

С гордостью Заболоцкий обратил мое внимание на то, что стихотворение "Иволга" написано таким размером, как ни одно стихотворение в русской поэзии.

Трудился он не покладая рук. Однажды я ушла на работу, оставив его за переделкой первой строфы перевода "Витязя в тигровой шкуре". Когда я вернулась вечером, он сидел в той же позе, за столом. Перед ним лежало несколько

десятков вариантов. Он предложил мне выбрать лучший. Я стала читать их, сравнивать, рассматривать. Выбрать было очень трудно, потому что все они казались мне равноценными. Наконец, я на чем-то остановилась и показала ему. Он оживился: "Да, пожалуй, ты права". Но наутро он начал всю работу сначала, записал еще десяток вариантов.

С необыкновенным удовлетворением он рассказал мне, что его "Столбцы" переписывают на машинке и продают – он назвал какую-то баснословную сумму.

Вообще радости от читательского признания были ему чрезвычайно дороги, и нельзя сказать, что он был ими избалован. Жизнь его была перерезана страшной чертой в самом своем расцвете. Мне же самой не раз приходилось слышать в начале пятидесятых годов: "Заболоцкий? Как, разве он еще жив?" Широкое признание пришло к нему буквально накануне смерти: он еще успел узнать, что он жив. При мне же он лишь однажды получил письмо от какой-то незнакомой девочки из Воркуты. Она писала, что она школьница, дочь ленинградцев (скорее всего не по собственной воле ее родители оказались за полярным кругом) : родители часто рассказывали ей о Заболоцком, читали ей наизусть некоторые его стихи, и ей очень хочется прочесть и еще что-нибудь. Очень трогательное было письмо. Николай Алексеевич его читал и перечитывал, думал, кто могли быть ее родители, спрашивал, не знакома ли ленинградцам ее фамилия, говорил, что как только выйдет его книга, он непременно пошлет ей, с надписью. Тогда ожидался выход его сборника в Гослитиздате – первого после почти двадцатилетнего перерыва. Теперь мне хочется знать, получила ли девочка книгу, узнала ли она, какую радость она доставила Заболоцкому.

Как он был одинок! Многие люди называли себя его друзьями, и среди них есть такие, которые едва знали его. Но сам он, доброжелательно относясь к召Кавериным, Чуковским (Николаю Корнеевичу и его жене), Томашевским и другим старым ленинградским знакомым, никого из них друзьями не считал. Исключение, впрочем, делалось для тех, кто особенно близок был ему в страшные годы: это Евгений Львович Шварц и Николай Леонидович Степанов. Об этих людях он говорил с сердечностью, которая отнюдь не была ему вообще свойственна. Я дала ему прочесть одну свою статью, написанную незадолго до знакомства с ним – о языке литературоведческих работ. Большинство примеров было взято из работ Степанова. Заболоцкий похвалил статью, нашел ее остроумной и попросил меня никогда ее не печатать, – разумеется, я исполнила его просьбу. Он прямо просил меня любить Степанова. Но вообще он не связывал понятие дружбы с душевной близостью, как большинство людей. "Вот мои друзья", – сказал он мне, указывая на открытую страницу сборника "День поэзии", где впервые было напечатано стихотворение "Прощанье с друзьями". Речь шла о Хармсе и Введенском, и показать можно было только на эту страницу: после этих мученически погибших поэтов могил не осталось. Единомышленники, товарищи-обереуты, ближайшие интимнейшие друзья по стихам – не существовали. Заболоцкий остался, вернулся к жизни, но уже совсем не к той, что была – в кругу этих друзей – в тридцатых годах. И дружбу свою он похоронил с ними.

Вообще он, несмотря на свою впечатлительность и неуравновешенность – никогда с утра он не знал, что будет делать вечером, – в своих поэтических пристрастиях был

очень ровен. Он не любил Маяковского, не любил Ахматову. Анна Андреевна рассказывала мне переданный ей эпизод, который показался ей незаслуженно оскорбительным. В обществе кто-то предложил за нее тост, а Заболоцкий поставил на стол бокал и заявил: "Нет, за Ахматову я пить не буду".

Мне больно было услышать из уст Анны Андреевны этот рассказ. Ведь я так ее любила. Это было похоже на Заболоцкого – так сказать. Он был вежлив и совершенно беспощаден. Думаю, однако, что речь шла не о самой Анне Андреевне, которую он, в сущности, и не знал, а о ее стихах, и ему хотелось подчеркнуть, что он не признает ее поэзии. Было это еще до войны.

Холоден был Заболоцкий и к Мандельштаму. Он не любил его, хотя готов был признать его поэтические заслуги. Вдова Мандельштама Надежда Яковлевна считала, что против Мандельштама направлено стихотворение Заболоцкого "Читая стихи" ("Любопытно, забавно и тонко..."). Мне Заболоцкий этого не говорил, а говорил совсем другое. Он очень сожалел, что это стихотворение отнесли к Пастернаку, а он, по его словам, имел в виду некий собирательный образ.

Я с горячностью убеждала Николая Алексеевича, что не любить Мандельштама невозможно. Это мой любимейший поэт, поэт поэтов. Николай Алексеевич равнодушно покачивал головой. Как-то уже после его смерти Екатерина Васильевна Заболоцкая рассказала мне, что в юности Заболоцкий страшно увлекался Мандельштамом, прямо-таки боготворил его. Мы обе были удивлены. Что же, изменились его пристрастия, так же как изменилась его собственная манера, – или же он почему-либо не хотел быть искренним?

Во всяком случае, мне ясно, что он весьма обдуманно формировал систему своих поэтических вкусов и взглядов на поэзию, сознательно отметая то, что считал ей чуждым.

Вообще это сочетание – пылких чувств и "холода тайного" – было ему очень свойственно. Многие вспоминают его степенным, рассудительным, похожим на удобно устроенного пожилого бухгалтера. Иные знали его ярким, бурным, блещущим умом и юмором. Но никто, думаю, не скажет о нем, что он был человеком теплым. И своих близких, и поэтов, с ним сопоставимых, он подвергал холодному и строгому суду.

А к молодым поэтам он был, естественно, очень снисходителен. Узнав, что в юности я писала стихи, он стал меня просить показать их ему. Я отказывалась, мне было стыдно, я давно бросила писать. Но он так мило, так заинтересованно просил, что я не выдержала и уступила. Полезла в ящик стола и, вытаскивая оттуда листки, пыталась что-то утаить. Он заметил это. "Нет, пожалуйста, дай мне все, я сам отберу. Я люблю сам выбирать". И целый вечер он сидел над этими глупыми бумажками, что-то перекладывал, сравнивал и, наконец, нашел два стихотворения, которые счел достойными внимания.

Интересовался он и совсем незнакомыми ему, безвестными, начинающими поэтами. Вырезал стихи из газет и журналов, хранил. Помню, что его привлекли первые опыты Юнны Мориц. Конечно, он очень интересовался переводчиками, одобрял С.Липкина, Юлию Нейман, В.Потапову. Потаповский перевод стихотворения С.Галкина "Снег" он считал шедевром переводческого искусства.

...Он продлится долгий век, –
Думал я в ту пору, –
Легких санок быстрый бег
Под гору и в гору...

Дважды он с восхищением прочел это стихотворение вслух с начала до конца.

И он очень любил самого Галкина, и стихи его, и мнения. "Самое приятное о моих стихах я слышал от Галкина. Он мне сказал: "В ваших стихах есть что-то таинственное".

Леонид Мартынов нравился ему настолько, что когда вышел – после долгого перерыва – сборник его стихотворений, Николай Алексеевич купил несколько экземпляров и дарил, подарил и мне.

Разумеется, мои воспоминания в этой части многим покажутся, и справедливо, неполными, – ведь я пишу только о том, что он говорил мне или при мне.

*
* *

Я знала Заболоцкого недолго, но очень близко, и мне соблазнительно думать, что я знала его хорошо, но знать его хорошо было, пожалуй, невозможно. Это был необыкновенно противоречивый человек, ни на кого не похожий, а временами непохожий и на самого себя. В нем были такие душевные изломы, которые не хочется не только доверить бумаге, но даже для себя назвать словами. Как он легко оскорблял, как легко просил прощенья и как недолго прощеньем дорожил!

Накапливавшиеся у нас в Малеевке разногласия, размолвки и непонимания слились по приезде в полный разрыв. С такой же категоричностью, как он решил на мне жениться, он решил со мной расстаться. Но для того, чтобы на мне жениться, требовалось мое согласие, и он добивался его. А для того, чтобы меня оставить, не требовалось ничего – он просто сказал мне, что хочет быть один (Екатерина Васильевна жила уже отдельно). Он сказал также, что данное мне обещание перестать пить оказалось для него невыполнимым.

Я вернулась к своей прежней жизни – ходила на работу, по вечерам возилась с домашними делами... Время от времени он звонил мне по телефону – всегда пьяно и странно. Однажды, например, он, услышав мое "Слушаю" – сказал: "Наташа! Ты мой цветок!" – и повесил трубку.

Через несколько недель после разрыва он позвонил мне по телефону и попросил к нему приехать. Я отказалась. Через несколько минут он позвонил снова и стал меня упрашивать. "Я должен что-то тебе показать". Я продолжала отказываться, и он сказал: "Я прошу тебя приехать и остаться у меня навсегда". Я приехала и он показал мне стихотворение "Признание". (Это стихотворение он еще утром, не дожидаясь, пока я вернусь с работы, послал мне и по почте).*

---

* Для него характерно было, что это глубоко любовное стихотворение, по словам Ахматовой даже слишком "мужское", родилось в разрыве и из разрыва. Те стихи, которые в составленном немного позже цикле "Последняя любовь" адресованы Екатерине Васильевне, тоже, насколько я знаю, написаны без нее. Д.Самойлов писал в посвященном Заболоцкому стихотворении:

Я поверила, что мы можем начать сначала, мне было страшно оставлять его одного. Я все-таки была к нему сильно привязана, и чувствовала какую-то ответственность за него, и очень хотела, чтобы он не пил и чтобы все было хорошо. Без его ведома я советовалась с одним опытным врачом, который сказал мне: "Ему нельзя пить никогда, ни капли. Если он будет пить, то проживет – ну, года полтора". Прогноз этого врача оправдался с точностью до одного месяца.

У меня началась трудная жизнь, я утром уходила на работу, вечером металась между своим домом и его домом. Николай Алексеевич настаивал, чтобы я оставила службу, но я не решалась. Он сказал: "Так не полагается – чтобы муж оставался дома, а жена уходила на работу". Однажды он сказал мне, – после того, как я прожила на Беговой несколько недель: "Вчера у меня был о тебе разговор с Наташей (дочерью). Я ее спрашивал, нравишься ли ты ей, хочет ли она с тобой жить. Наташа очень хорошо о тебе говорила, и я решил завтра поехать в Союз писателей, просить, чтобы вместо нашей квартиры и твоей комнаты нам дали

(к стр. 95).

И то, что он мучает близких,
А нежность дарует стихам...

Ужасная чепуха, будто поэт может что-то даровать стихам. Если уж употреблять эти слова, то он даровал нежность близким – через стихи, и это было именно то, что он чувствовал – **de profundis**. Банально напоминать, что именно в стихах личность поэта предстает в том виде, который мы обязаны считать истинным. Прочее – не то что ложно или же несущественно – просто есть прочее.

одну большую квартиру". Он действительно поехал, говорил с тогдашним секретарем Союза – Чертовой. Этот разговор тоже был благоприятным. Чертова сказала, что знает меня, что очень сочувствует положению Николая Алексеевича и постарается ему помочь. Предстояло распределение квартир в новом писательском доме на Ломоносовском проспекте.

Однако через несколько дней Николай Алексеевич еще раз переменил решение. Однажды утром он сказал мне, что сегодня собирается начать пить. Он дал домработнице денег, чтобы она ехала за вином, а мне сказал, чтобы я ехала на Мещанскую. Это был февраль, студенческие каникулы, и его дети Наташа и Никита были в Ленинграде. С их разрешения я на это время поселила свою дочку Иру в их комнате. Ире было там очень хорошо, так как ее мыли в человеческой ванне, да и вообще. Она предполагала, что будет здесь еще несколько дней, но кротко стала натягивать шубку. Я сказала Николаю Алексеевичу, что этот случай в нашей жизни – последний.

Через какое-то время, в начале лета он послал мне только что вышедшую книгу с такой надписью: "Наташе Роскиной с дружеским приветом". Я, разумеется, не ответила. Осенью он позвонил по телефону – помнил мой день рожденья и хотел поздравить. Спросил, получила ли я книгу и почему не ответила. На этот вопрос было трудно что-нибудь сказать. Он спросил, не хочу ли я его видеть. Я ответила отрицательно.

Это был наш последний разговор.

После этого разговора я постаралась избавиться от аметистов, которые, по системе суеверий, связанных с камнями, приносят несчастье. Лишь много позже я узнала, что и

эти аметисты, и многое другое оказалось описано стихами.

Вспоминая нашу короткую совместную жизнь, я могла бы открыть еще один ящик историй, в которых бы все противоречило всему. Это были бы истории о его щедрости и его скупости, о его высокомерном презрении к людям и о глубочайшем к ним сочувствии; о том, как он мог все понять, и о том, как он не понимал – нарочно не хотел или не умел, как теперь узнать...

В нем смешалось трогательное и жестокое, величавое и беспомощное, аскетическое и барственное. Но он был поэт, и антипода поэту в нем не было.

Он был, что называется, рожден поэтом. Ахматова была рождена исключительной личностью, – в нее был вложен поэтический дар, но я думаю, что в нее мог бы быть вложен дар математики, танца или вообще никакого дара, и она все-таки осталась бы великой. Заболоцкий же был именно поэтом, поэтическое было в нем гипертрофировано и вытесняло все.

Как-то, когда он причесывался перед зеркалом, аккуратно приглаживая редкие волосы, моя Иринка спросила его: ”Дядя Коля, а почему ты лысый?”

Он ответил: ”Это потому, что я царь. Я долго носил корону, и от нее у меня вылезли волосы”.

И вот – воспоминание о его добродушно-серьезном лице, которое в эту минуту я видела отраженным в зеркале, воспоминание о спокойном естественном тоне, которым он произнес: ”Я царь”...

И все.

Глава третья

ПАМЯТИ ГРОССМАНА

Людей, склонных к самообольщению, Гроссман не притягивал. У него была дьявольская охота их скальпировать, отдирать маски, приросшие к их лицам. Он пренебрегал легкой возможностью воспринимать людей в предлагаемом ими плане. Теперь модна теория ролей, – ну, а он хотел искать "зерно роли", обнажал тайные пружины человеческих взаимоотношений, вскрывал истинный ход мысли и чувства, – и наслаждался этим, нисколько не заботясь, разделяет ли собеседник его наслаждение. Не очень-то давал он волю собеседнику – в ответ – интересоваться собой. Этот интерес он счел бы пустым любопытством. И справедливо. Гроссман был настоящий прозаик, и его интересовала жизнь во всех решительно ее проявлениях, к любой живой ноте готов он был прислушаться. Говорили мы с ним как-то о X., он с чьих-то слов передавал, как X. горячо любит свою жену, каждый день встречает ее после работы. Я сказала: "Ну, этот период уже прошел. Мне рассказывали, что она живет с ребенком на даче, он дачу терпеть не может, ему хочется жить в городе, и хоть ей и скучно там одной, его трудно

выманить из городской квартиры". Гроссман оживился. Что же вы думаете? Прихожу я к нему в следующий раз и слышу: "Наташа, а ведь я ваши сведения проверил. Позвонил Х., он подошел к телефону. Я как бы невзначай спросил: а вы дома живете, или на даче? Он с раздражением ответил: я живу в городе столько, сколько этого требует работа! Было ясно, что этот болезненный вопрос уже не раз обсуждался".

Если люди совершали неожиданные для него поступки, он долго и даже как-то наивно дивился. этому. Один милый, мягкий человек ушел от жены к другой женщине. Гроссман все качал головой, удивлялся: "Если бы составить список из тысячи человек: "Кто уйдет от жены?" – я этого К. поствил бы в списке последним. И вот – на тебе! Он оказался первым!"

Один довольно известный писатель У. рассказал мне, что Гроссман когда-то обидел его: сказал, что похороны У. будут небогатые, по второму или даже по третьему разряду. Со вкусом стал описывать скромность этих похорон. У. был всерьез огорчен. Я сказала: стоило ли обижаться? Если б, скажем, он был бы много моложе вас, или вы отличались бы слабым здоровьем... Но этот писатель, переживший Гроссмана на целую вечность – и дай ему Бог! – уже кипел и бурлил негодованием – ныне на меня, что я не сочувствую его обиде. Он не понял тогда и сейчас тоже не понимает, что Гроссман ему сказал: ты мелок, ты самолюбив, ты падок на почести, и тебе всего мало. А он решил, что это его скромность стала предметом насмешки. Наивно...

Но конечно, если кто скажет, что характер у Гроссмана был легкий,мы того поднимем на смех. Характер у Гроссма-

на был тяжелый в точном смысле слова. Ни к чему он не относился легко. Все было отяжелено, все шло трудно, словно поезд медленно двигался по рельсам, – не веселая дачная электричка, а нагруженный товарный состав. И обнажая ваши больные места, терзая вам душу своей прямотой, он делал это не по злости или бестактности, но потому, что не видел вообще интереса в общении – без полноты. Светской жизни он не вел и резкость культивировал сознательно, – это уж сверх того, что, конечно, она была его органической чертой.

Но, разрушая самообольщение, он оставался хранителем ваших истинных ценностей. При его остром чутье – он редко ошибался. Теперь, вспоминая разные его колкости, в свое время меня уязвившие, я думаю: почему они утратили свое действие? Почему мне не горько, а даже как-то сладко вспоминается соль его шуток и соль моих слез? И понимаю: Гроссман лучше меня знал меня. А ведь случалось, что судя мою жизнь, моих близких, то, во что я верила, он измучивал беспощадно! Повышал тон, краснел от негодования, либо посмеивался ехидно. Ух, какая у него бывала усмешечка!.. Я ерзала на стуле, вытаскивала носовой платок, отставляла тарелку. И вскоре приходила снова...

Еще он ужасно любил поучать. Смолоду был у него этот немного нудный, наставительный тон, отчасти даже высокомерие. Существует рассказ, как мой отец, А.Б.Дерман и К.Г.Паустовский подшутили над Гроссманом накануне войны, в ялтинском доме творчества. Отец мой был старше Гроссмана, А.Б.Дерман дружил еще с Короленко, Паустовский тоже был уже далеко не мальчик. Втроем они подстерегли Василия Семеновича в темном коридоре и

упали перед ним на колени с воплем: "Учитель, научи нас, как жить!" Гроссман сам с удовольствием вспоминал эту сцену, последнюю весну моего отца. (На одной фотографии они сняты вместе на ялтинской набережной, оба улыбаются. Отец не вернулся с войны, Гроссмана же, кажется, никто уже не видел веселым). К тому же он был слишком умен, чтобы и в самом деле надеяться кого-то чему-то научить. Он был наредкость умен. И особенно ценным свойством его ума мне представляется верное сочетание житейского пессимизма с широкой верой в людей. Вряд ли современный ум может обойтись без скепсиса; но цельность натуры Гроссмана сама собой возражала его собственному скепсису.

Зато в другом отношении общаться с ним было по-старинному легко. Приглашая гостя, он говорил ему: "Только перед выходом еще разик позвоните на всякий случай". В понедельник он с уверенностью уславливался на пятницу, на семь часов. "Буду в девятнадцать ноль-ноль", – отвечала ему я. Как мне радостно было, что эти два-три дня он мне дарил: до пятницы. Многие литераторы вспоминают разные резкости и даже грубости Василия Семеновича, одного он, как рассказывалось, заживо похоронил по третьему разряду, другому сказал, что тот стал плохо писать, – а вот как он, по-своему, конечно, берег свое общение с людьми, – об этом мне и хочется напомнить. Два-три дня думала, что расскажу, о чем спрошу, лелеяла в себе такое настроение, что к Гроссману иду. Приходишь, тебе уж прибор стоит на столе, тебя ждали, ты желанен. На столе всегда уютная, домашняя еда, из кухни несут печеную картошку... Тепло мне здесь бывало!

И не могло так быть, чтобы когда-нибудь вечером он не

вышел проводить гостью. Однажды я у них на Беговой очень засиделась. Василий Семенович все удерживал меня. Вышли мы с ним из дому часа в два ночи, такси не поймали, и я села в какой-то автобус, чтобы доехать до Белорусского вокзала, а уж там пересесть в такси. День был майский, теплый, я пришла к Гроссманам в легком костюме и туфлях на высоких каблуках. А когда мы выходили, начиналась самая настоящая пурга. У Белорусского вокзала огромная очередь на такси, а с неба снег валится хлопьями. Стояла я, дрожала сорок минут, наконец, упросила кого-то подвезти меня. Рано утром звонит Василий Семенович: как вы доехали? Я рассказываю, конечно, уже в шутливых тонах. Он отвечает мне: "Я не спал всю ночь. Чувствовал, что с вами неблагополучно. Мучился, как я мог вас отпустить одну?" И долго не успокаивался, спрашивал – здорова ли, нет ли температуры, не схватила ли воспаление легких. Да ничего мне не сделалось! Молодая я была, крепкая, счастливая его дружбой.

Но возвращаюсь к содержанию наших разговоров. Понятно, что если человек масштаба Гроссмана одержим интересом и страстью к правде, то он не ограничится домашним кругом, анализом своих знакомых. И естественно, что в его сознании общественные темы занимали доминирующее место. Он знал, что и я всегда стремилась слушать радио, читать все, что возможно достать, и всегда жадно расспрашивал меня – что нового. Часто, разумеется, говорили и о недавнем прошлом. Однажды он предложил мне вопрос: "Как вы объясняете – зачем от людей в тюрьме так добивались подписи? Почему фальсифицировалось все, а подпись должна была быть подлинной? Сочинялись показания от сло-

ва до слова, так зачем нужно было три месяца колотить какого-то бухгалтера, чтобы он подписал?" Я не знала, как ответить на этот вопрос. Не ответил и он сам, – а потом я нашла его ответ в повести "Все течет". Видимо, он все время тогда об этом думал. Много говорили мы и о том, как были сломлены не бухгалтер, не сторож автобазы, не несчастная жена какого-нибудь ответработника, а деятели революции, закаленные в тюрьмах предыдущего режима. На эту тему, говорил он, на Западе написана масса книг.

И подарки он делал соответствующие: мне, например, он подарил "Дневник посла Додда" – переведенный у нас в 1961 году дневник американского посла в гитлеровской Германии. Он раскрыл передо мной книгу на том месте, когда жена посла при каком-то важном разговоре кинула подушку на телефон. Ведь только что он уводил меня в ванную комнату, и несколько минут мы говорили под бурные звуки льющейся воды.

Говорили вот о чем. Приехавшая из Парижа с мужем Татьяна Алексеевна Паустовская рассказала одной моей знакомой, что якобы там издали Гроссмана, – я так до сих пор и не поняла, что она имела в виду. Гроссман разволновался, но ненадолго, сказал, что произошло явное недоразумение. Я сейчас вспоминаю об этом, чтобы привести сказанные по этому поводу слова Гроссмана, что к заграничной славе он не стремится. "Главное – печататься здесь". Быть может, он и не отказался бы и от того, кружного пути, но все возможности, предлагаемые тогда, не казались ему надежными. Как всякий запертый в клетке человек, он с восхищением относился к свободе, к демократии и одновременно ощущал легкое презрение к Западу, к его благопо-

лучной, непробиваемой цивилизации. Это двойное чувство, столь характерное для больших русских писателей (Герцена ли перечитать, Щедрина ли), роднило его с мощной классической традицией.

В 1957 году я стала переписываться с вдовой Бунина Верой Николаевной. Послала ей книг, она в ответ прислала мне несколько сборников Бунина. Попались мне и каталоги издательства имени Чехова, которое казалось нам тогда верхом культуры и свободомыслия. Но Гроссмана эти каталоги привели в ярость: то какие-то исторические романы, то полуфилософские рассуждения о сатане, то сборники стихов со старомодно-декадентскими названиями. Он клокотал, говоря об этом. "Уж дали вам слово, так напишите исследование под названьем: "Колхозный трудодень!" Я принесла Бунина, чтобы порадовать ("Темные аллеи", "Освобождение Толстого", "Чехов" – все это было у нас тогда еще неизвестно). А получилось опять, что рассердила. Мозг его работал в одном направлении, жаждал одной пищи, – правды.

В книге "Люди, годы, жизнь" Илья Эренбург тепло вспоминает о Гроссмане, с которым подружился во время войны, когда люди были более откровенны. Он вынес впечатление, что Гроссман о Ленине говорил с благоговением; а "Сталин должен был не любить Гроссмана, как не любил он Платонова, – за все пристрастия Василия Семеновича, за его любовь к Ленину..." (глава двадцатая книги пятой). Уж не знаю, за что Сталин не любил Гроссмана, за какие такие "пристрастия"; но что нелюбовь эта была взаимной, это я могу удостоверить. Отнюдь не любовь к Ленину была причиной всегда опального положения Гроссмана, а исклю-

чительно тот факт, что Гроссман никогда не искал любви Сталина. Да и ничьей любви он не искал. Хрущев также терпеть не мог Гроссмана – Василий Семенович рассказывал мне, за что. Опять-таки не за любовь к Ленину, а за то, что во время войны Хрущев, член военного совета, все приглашал Гроссмана зайти в его блиндаж, послушать его умные речи. Гроссман раз не пошел, два не пошел, ну Хрущев и перестал его приглашать, да хорошенько это запомнил. Нелюбовь Хрущева была мотивированной, Сталину же особых причин для нелюбви, как известно, не требовалось. Что же касается Ленина, то благоговения к нему Гроссман, как я понимаю, не испытывал уже хотя бы потому, что благоговение перед политическим деятелем для человека его склада скорее всего вообще невозможно. (Исключение, быть может, составил бы Ганди). Я бы поверила, что Гроссман благоговел перед Толстым, перед Чеховым... Чувство благоговения – да, оно было присуще его душе. Мало кто знает, как он был нежен, как трогательно любил природу – жалел ходить по траве, топтать ее; как он безумно страдал, принося боль любившей его женщине... Но к Ленину был исследовательский интерес, не более. Теперь, когда на Западе опубликована повесть "Все течет", мои слова уже не нуждаются в доказательствах. Мне кажется, что война настолько обострила отвращение Гроссмана к жестокости, что и Ленина он стал воспринимать в другом, чисто моральном свете.

В начале войны Гроссман написал патриотическое сочинение, выдвинутое на соискание Сталинской премии – роман "Народ бессмертен". Из списка лауреатов роман был вычеркнут Сталиным. Об этом событии Эренбург пишет:

"Звезда, под которой родился Гроссман, была звездой несчастья". Вот уж о чем Гроссман не сокрушался, так это о том, что не попал в сталинские любимцы. Гроссман был на редкость мало тщеславен, — в точном смысле слова: он не тщился иметь славу. Деньги ему, конечно, были нужны, как всякому человеку, и может быть больше, потому что он многим помогал, но и к деньгам он был достаточно равнодушен, и никогда не делал ничего ради одного гонорара. В трудный момент пришлось ему взяться — для денег — за перевод одного романа с армянского. Результатом поездки в Армению явились чудесные армянские записки. Редакция "Нового мира" собиралась их напечатать, но цензор потребовал изъять из чистых листов несколько фраз, связанных с еврейской темой. Всего лишь несколько фраз! И как легко, казалось бы, безболезненно они изымались! Гроссмана уговаривали согласиться на это все: и жена его просила, и Твардовский упрашивал, и друзья советовали. Нет, Гроссман не согласился. Вещь была вынута из готовой книжки журнала и долго еще лежала в его письменном столе. Было в высшей степени огорчительно увидеть эти записки в сборнике 1967 года "Добро вам" ("Советский писатель") — в сильно ощипанном виде. Многие сцены, как например визит к католикосу всех армян Вазгену Первому, стали неузнаваемы. Так расправились после смерти писателя с сочинением, в котором он при жизни не позволял тронуть несколько фраз! Тогда я была в гостях у Василия Семеновича, и он дал мне прочесть самый полный экземпляр. К стыду своему, я говорила то же, что и все: "Ах, зачем же вы это сделали, здесь столько сказано, стоило ли из-за небольшой купюры все губить..." И т.д. Он грустно на меня

посмотрел и сказал: "Вот и вы... А мне почему-то казалось, что вы так не скажете..." Бывает такое чувство, когда вдруг с пронзительной ясностью понимаешь важность минуты для всей своей жизни. Я знала тогда же, что эти слова его навсегда запомню, что они не пропадут. Но попыталась аргументировать, сознавая жалкость своих аргументов. Ведь в душе я всегда восхищалась его твердостью; а укреплять его в этой твердости было беспощадно по отношению к самой себе. Гроссман пожал плечами и сказал как-то смущенно, застенчиво: "Не знаю, мне все это показалось оскорбительным..." Тяжело было видеть его убитым. Как сейчас передо мной его грузная фигура в кресле. Он был уже смертельно болен, но об этом еще никто не знал, и он сам тоже.

В той жизни, – скажем условно, до Солженицына, – писатели так не поступали. Да и стоит ли так поступать? Уступи Гроссман в тот момент – и вещь вышла бы. Но он не уступил – и ее вообще не существует, потому что издание посмертное погубило ее вконец. (Существует еще, впрочем, более полный текст в "Литературной Армении", но я сейчас не об этом). Сделанные здесь купюры погасили весь гроссмановский огонь: получился заурядный путевой очерк, вышедший к тому же поздно, не тогда, когда был ожидаем.

Так что же, выходит, не стоило так поступать?

Я много думала впоследствии над всеми этими вопросами и пришла к выводу, что они неразрешимы. В русской сказке богатырю говорили: по этой дороге пойдешь – сам пропадешь, по той пойдешь – коня погубишь. А третьего пути нет. И в нашей жизни – не тем ли она более всего замечательна, что какой шаг ни сделаешь, все будет плохо, все

неправильно. Ведь если бы можно было поступить как-то хорошо во всех отношениях, то это не было бы политической беспросветностью. А поскольку именно она господствует, остается одно: самосожжение. В дни, когда Павел Литвинов, Лариса Даниэль и другие вышли на Красную площадь, протестуя против ввода наших танков в Чехословакию, появилось новое слово: самосажение. Но ни самосожжение, ни самосажение выходом ведь не назовешь. Это не выход, а безвыходность, и Гроссман хлебнул ее полной чашей. Он совершил писательское самосожжение, и за него же заплатил еще и своей жизнью. Спасибо Гроссману, что он так поступил – один. Низкий поклон его памяти от нас, от всех тех, кто сам поступить так не мог. Мы смотрели на него и видели, что значит быть литератором.

Это чувство своей единственности – очень тяжкое чувство. Оно ложится на человека истинным бременем. Поэтому неудивительно, что характер Василия Семеновича не становился мягче, а связи его с литературной средой в последние годы чрезвычайно ослабели. Он ее открыто презирал и, не получив светского воспитания, не силился скрывать это презрение. Если он что-то и скрывал, то, думаю, скрывал именно муки одиночества, порожденного единственностью. Он был очень горд.

А между тем, еще не так давно, какие-нибудь десять лет до этого, Гроссман был советским писателем со всеми вытекающими отсюда последствиями. Он спокойно или не совсем спокойно, но во всяком случае сделал то, что от него требовали, а именно – вставил главы о Сталине в роман "За правое дело". На марках был изображен Сталин, и ведь все мы не задумывались, наклеивая их на конверт – мы зна-

ли, это нужно, чтобы письмо дошло. Можно ли сравнивать главы о Сталине в книгах наших писателей с наклеиванием марок на конверт? Мы старались думать, что – можно. Но лучшим из нас уже было ясно, что – нельзя. И раз сбросив с себя эту проклятую шкуру, Гроссман уже не мог в нее влезть никогда.

*
* *

Теперь я хочу рассказать историю ареста романа Василия Гроссмана "Жизнь и судьба" – так, как она мне была известна, поскольку именно в эти годы я бывала у него особенно часто. Роман представлял собой вторую книгу романа "За правое дело". Гроссман, по его словам, работал над ним десять лет. Я много расспрашивала его о судьбе героев, знакомых мне по первой части, он обычно отмалчивался, все обещал, что вскоре даст прочесть, но иногда что-то рассказывал. "А что будет с Софьей Осиповной?" – Напомню, что эта женщина, фронтовой хирург, была случайно завезена шофером в расположение немцев под Сталинградом. Он помрачнел и, помолчав, ответил: "Ее судьба была ужасна. Софья Осиповна попала в немецкий лагерь, там к ней прибился еврейский мальчик лет четырнадцати, она его опекает; так, вместе, они остаются до последних дней, до последних минут в душегубке".

Среди литературных знакомых Гроссмана мне приходилось слышать, что он "ушиблен" еврейской темой, что он

на ней ”помешался”. ”Тема эта важная, но не самая важная”, – наставляла меня жена одного критика, специалиста по творчеству Константина Симонова. Мне глубоко противен подобный взгляд, и смею думать, совсем не потому, что я еврейка. Во-первых, каждый большой писатель на чем-нибудь помешался. Во-вторых, гибель нескольких миллионов евреев стоит помешательства писателя. В-третьих, Гроссман узнал и своими глазами увидел на войне и после войны много такого, чего иные так и не знают до сих пор (не знаю, к счастью их или же к несчастью. Достоевский писал в ”Идиоте”: ”Лучше быть несчастным и знать, чем быть счастливым и жить в дураках”) . Он занимался сбором материалов для коллективной ”Черной книги” о зверствах немцев на оккупированной территории. Наконец, – считайте это самой малой или самой важной из причин, – мать Гроссмана погибла в Бердичеве, у немцев, в сентябре 1941 года... Моя мать погибла, попав под трамвай, и каждый раз, всю свою жизнь, при виде трамвая я – сжимаюсь...

И роман Гроссмана ”Жизнь и судьба” посвящен памяти его матери Екатерины Савельевны, не уехавшей из Бердичева из-за того, что не на кого было оставить больную племянницу Наташу. Она была учительницей французского языка, люди, видевшие ее в гетто, рассказывали Гроссману, что она продолжала там заниматься с детьми. О последних ее минутах никто не мог рассказать, – он ездил в Бердичев, разыскивал очевидцев, – все были расстреляны вместе с нею.

Однако было бы ложью утверждать, что трагедия еврейства заслонила от Гроссмана другие трагедии. Трагедию русского народа – трагедию коллективизации, трагедию войны,

трагедию плена, трагедию концлагерей. В романе тысяча страниц на машинке, сорок печатных листов, десять лет труда – было обо всем...

Помню, что Крымов попадает в жуткий советский концлагерь, а Штрум, напротив, благоденствует, словом, помню кое-что. Два-три отрывка из романа, разумеется, наименее острые, печатались в газетах – в ''Вечерней Москве'' и, кажется, ''Литературной''. Я делала вырезки, берегла их. А потом как-то спросила Гроссманов: может быть, вам эти вырезки нужны? Они ответили: спасибо, да, пригодились бы. Я и отдала. Вот глупость-то! Только кто же мог знать?

Василий Семенович отнес рукопись в ''Знамя'' – журнал, с которым у него был договор. Роман уже был широко известен. У Гроссмана было такое представление о возможном ходе дела: Кожевников читает роман, много ему неприемлемо, он требует изменений, на которые Гроссман пойти не может и предпочитает взять роман назад. Расторжение договора – вот вариант, который казался ему худшим из возможных; следовательно, возможным он считал и публикацию романа в том виде, как он его написал, либо с совсем незначительными переделками.

Впоследствии он говорил мне, что сам никак не может понять, как это он, человек, казалось бы, лишенный каких бы то ни было иллюзий, оказался столь доверчив. Вот, кстати и еще один необъяснимый психологический феномен, каких в нашей жизни немало. Художник создал модель деспотии, – при этом в его сознание не вошла столь очевидная несовместимость тоталитарности и ее разоблачения. Правда, незадолго до этого Хрущев вдруг дозволил ''Один день Ивана Денисовича'', и лагерная тема, тема ''беззаконий эпохи

культа личности" оказалась ненадолго открытой. Но, как я объясню ниже, не эта тема доминировала в романе Гроссмана.

Я тем временем умоляла дать мне прочесть роман, он отвечал – нет хорошего экземпляра с правкой, да успеете вы, ей-богу, не к спеху.

В редакции "Знамени" роман произвел огромное впечатление, однако Кожевников, человек умный, всегда придерживавшийся одной линии, никогда не шарахавшийся влево, сразу понял, что дело тут серьезное. Я в это время бывала в редакции, спрашивала тогдашнего редактора отдела прозы Б.Е.Галанова: ну как? Галанов глубоко почитал Гроссмана, написал когда-то восторженную статью в "Правде" о романе "За правое дело", за что и вылетел из газеты. "Не знаю, Наташа, а вы читали? Уж очень мрачно все, мрачно... Вряд ли..." – уклончиво отвечал Галанов. Слово "мрачно" давно уже считалось приговором в редакционных комнатах. Между тем вопрос решался не в редакции. Кожевников отнес роман на консультацию в ЦК.

Затянувшаяся неопределенность в "Знамени" стала известной в "Новом мире". Твардовский, хотя у него с Гроссманом отношения перед этим были несколько нарушены (ему не понравился рассказ Гроссмана "Тиргартен", и между ними произошел резкий разговор), позвонил, выразил желание прочесть роман, и Гроссман дал ему один из дублетных экземпляров. Как рассказал мне Василий Семенович, Твардовский ему сказал, что он не спал двое суток, был в необыкновенном волнении от того, что он прочел. Что же касается публикации романа, то Твардовский сказал, что она будет реальной через двести пятьдесят лет.

(И опять я умоляла дать мне прочесть, и он опять говорил – подождите, Наташа, вы же сами видите, сейчас все экземпляры могут срочно понадобиться...)

Весной 1961 года (числа не помню, в мае) к нему пришли сотрудники госбезопасности и предъявили ордер на изъятие рукописи. Они вежливо осведомились, в скольких экземплярах роман был отпечатан, все ли экземпляры им вручены. Гроссман был ошеломлен и не сопротивлялся, отвечал с обычной своей правдивостью. (И с этим не в первый раз мы встречаемся – правдивые люди не успевают перестроиться, не ощущают своего мгновенного перехода в тот антимир, где правдивость не только гибельна для себя, но и отвратительна по существу). Он сообщил им, что два экземпляра находятся сейчас там-то и там-то. Поехали все вместе к этим людям, забрали еще два экземпляра. Какие-то части романа перепечатывались после правки – они были отданы двум разным машинисткам. Поехали все вместе к этим машинисткам. Гроссман в то время занимал, кроме своей общей с женой квартиры на Беговой, отдельную комнату на Ленинском проспекте. Заехали и туда, пошарили по ящикам стола – отдельные куски, черновики, материалы, главы, отрывки... Трое вежливых штатских, один из которых был полковником, два дня разъезжали по указанным адресам, дотошно пересматривая все бумажки. Они-то делали свою работу, ну а писатель-то что? Почему он так безропотно им подчинился? Почему, скажем, ночью – между этими двумя днями – не кинулся спасать хоть что-то, уцелевшее от первого дня? Зачем дал все адреса?

Василий Семенович объяснял мне так: ”Я был уверен,

что это недоразумение, что все разъяснится". Боже, сколько раз мы слышали такое! Каждый арестованный думал, что недоразумение разъяснится. Гроссману ли было этого не знать? Поведение его в этой истории осталось бы для меня навсегда полной загадкой, если бы не тот непреложный, не знающий, пожалуй, исключений факт, что человек перед этой системой капитулировал (и так было, пока не пришел Солженицын). Один поэт недавно сострил: "Я не воюю с атомной державой". У нас просто не было иной модели поведения. Почему храбрый Тухачевский не застрелился честным, а предпочел быть расстрелянным позорно? Почему так мало кто бежал с поселения? Почему Каменев не закричал на суде петухом? Почему никто не прятался и никто ничего и никого не прятал? Все эти вопросы имеют много ответов, а раз много – значит, ни одного надежного, ясного, исчерпывающего.

Словом, что теперь говорить. Романа не стало.

Конечно, нельзя эту историю назвать беспрецедентной. Увели Н.И.Вавилова, увезли вслед за ним грузовик с его архивом, где теперь архив – неизвестно. Увезли Бабеля, забрали его рукописи, и их нет. В данном случае поступили все-таки иначе, по-новому: арестовали не человека, а его труд.

Гроссман был в глубоком отчаянии. Когда я ему рассказывала о строящейся его новой квартире на Аэропортовской, он сказал: "Мне все безразлично. Если бы мне пришлось теперь ночевать где-нибудь на вокзале, я наверно этого бы даже не заметил".

В чем же было дело, отчего ЦК решил, руками ГБ, блокировать роман Гроссмана намертво?

Люди, успевшие прочитать роман, объясняли мне так.

Во-первых, обнажен был параллелизм: вот штаб Гитлера, вот штаб Сталина. Этот параллелизм намечен еще в книге "За правое дело". Но за десять лет работы над новым романом Гроссман поднялся на совершенно иную ступень понимания вещей. Вот немецкий концентрационный лагерь, вот советский. Сходство бросалось в глаза. Бросалось в глаза и различие: Гитлер уничтожал тех, кого считал своими врагами, Сталин уничтожал без особого разбору. Да и лагерь советский оказывается, пожалуй, еще и пострашнее немецкого. Для многих это оказалось неожиданностью.

Во-вторых, в этом романе выведен был советский ученый, крупный физик, отказавшийся работать над проблемами атомной бомбы. Ну, а наша идеология не допускала даже и возможности подобного взгляда на вещи.

Однако Сталина уже не было, и стереть Гроссмана в порошок тоже не решились.

День, когда роман Гроссмана был арестован, можно считать началом новой литературной жизни, новой эры самиздата. Писатели поняли, что нельзя свои сочинения держать в одном месте, в одном письменном столе. Читатели поняли, что если они будут дожидаться только очередного номера журнала, они мало что прочитают. Писатели поняли, что редактор журнала, ЦК, КГБ – все это сообщающиеся сосуды. Читатели поняли, что надо и им потрудиться для сохранения литературы, для свободы книгопечатания.

Не помню, когда родилось это слово – самиздат. Кто-то наверно помнит, кто-то ведь сам его сочинил.

Разумеется, и раньше умели хранить – закапывали еще пестелевскую "Русскую правду". И раньше сочинения, минуя типографскую цензуру, ходили в списках, – достаточ-

но вспомнить "Горе от ума". Но эпоха нашего самиздата началась, думаю, после весны 1961 года.

Впоследствии подобные акции КГБ начали применяться к другим писателям, но такого ошеломляющего успеха они уже не приносили. Василий Гроссман положил тут рубеж.

Года через два, понадеявшись на какое-то послабление, на какой-то легкий ветерок, Гроссман сделал попытку вызволить свой роман. Он попросил встречи и был принят Сусловым. Тот, как рассказывал мне Василий Семенович, не слишком готовился к этой беседе, сказал, что романа не читал, но "товарищи читали" (то есть Поликарпов) и не советуют роман возвращать автору. Подготовлена была, как всегда у идеологического начальства, только ссылка на Ленина (как он закрыл редакцию Горького). Ну, и уж конечно, говорилось о пользе народа. Получить рукопись обратно не удалось. Так она и лежит в архивах государственной безопасности, если не уничтожена. "Если не уничтожена" – если мне выпадет счастье прочесть ее, я убеждена, что она не окажется устаревшей. Об этом говорят лучшие страницы первой части романа "За правое дело".

И об этом говорит также все, что я знаю о самом Гроссмане последних лет его жизни, о его полной внутренней свободе, о масштабе его мысли, о его творческом расцвете.*

---

* Эти строки были написаны мною в 1970 году. В 1975-76 выяснилось, что роман спасен, вывезен за границу и главами издается в "Континенте". Надо ли говорить, какая, это была радость! Но публикация была осуществлена явно неудовлетворительно, кустарно; а полностью роман так и не увидел света до сих пор. Чья это вина? Как это могло случиться? Не знаю.

*
* *

Теперь хочу рассказать один эпизод своей жизни, возможно, связанный с романом Гроссмана.

В 1960 году, впервые после тридцати лет, в Москву приехал брат моей матери, американский ученый (биофизик и биохимик) Юджин Рабинович, по-нашему Евгений Исакович. Во время гражданской войны обширная семья моей мамы раскололась: часть уехала в эмиграцию, часть осталась в Петрограде. Уехавшие жили в русской колонии в Берлине, и тут их настигло – пришел Гитлер, и в Париже настигло – фашизм и туда пришел, одних расстреляли, другие в душегубке погибли, в результате получилось, что кто остался при большевиках, тому и повезло. (Не очень-то хотелось ликовать по поводу этого своего везенья, ну, да не о том сейчас речь). Евгения Исаковича судьба пощадила. Гитлер, правда, одной из первых своих акций, еще в 1933 году выгнал евреев из института кайзера Вильгельма, но тут Бор пригласил Рабиновича на два года в Копенгаген, потом он переехал в Англию, затем получил приглашение в Принстон, началась вторая мировая война, и он стал американцем. Во время войны Юджин Рабинович был участником Манхеттенского проекта, то есть членом коллектива, работавшего над проблемами атомной бомбы, написал впоследствии изданную в СССР "Химию урана" и широко прославился тем, что составил так называемый доклад Франка: обращение группы виднейших ученых к Президенту США с требованием предотвратить сбрасывание атомной бомбы на Хиросиму.

Протест, как известно, не помог, но Рабинович после войны навсегда отошел от проблем военно-атомных, руководил лабораторией ботанического факультета в штате Иллинойс, написал трехтомную монографию "Фотосинтез" (тоже изданную в СССР), создал и возглавил "Бюллетень атомных ученых" и – вместе с Расселом – международное движение атомных ученых за мир (Пагуошское). Вот этот мой рассказ о дядиной судьбе очень заинтересовал Василия Семеновича. И, как я позже догадалась, его заинтересовал именно образ человека, получившего отвращение к делу своих рук, образ ученого, который не желал стать убийцей: образ, чем-то, возможно, близкий герою романа "Жизнь и судьба".

Итак, в декабре 1960 года Евгений Исакович приехал в Москву. Я помнила его плохо, но помнила – когда мне было три года, он приезжал – в 1930 году – в Ленинград, на съезд физиков, знакомство мое с ним состоялось заново, и мы отчетливо почувствовали себя родными. Евгений Исакович в молодости писал стихи, боготворил Ахматову и Мандельштама, был счастлив безумно, что я его познакомила с Ахматовой; приехал он сюда на очередную, шестую (московскую) пагуошскую конференцию, куда съехались знаменитые и знаменитейшие атомные ученые всего мира, и в ресторане "Метрополь", где все они столовались, кормили и меня с дочкой. Когда он улетел, а я осталась на мрачном пустынном Шереметьевском аэродроме, тоска была непереносимая, к тому же я не была уверена, что меня не вызовут для каких-нибудь неприятных бесед. Но Василий Семенович, к которому я назавтра же поехала, переломил это мое настроение. Он заверил меня, что ничего плохого не будет, много расспрашивал про дядю, я пересказывала разно-

образные дядины рассказы — Василий Семенович слушатель был замечательный, его все интересовало (а если не интересовало, он так прямо и говорил мне это: не интересно). Мы договорились, что когда Евгений Исакович приедет в следующий раз, я их познакомлю. Приехал он скоро, в августе 1961 года, на съезд биохимиков, но когда я позвонила Василию Семеновичу, он ответил, что знакомиться с ним не будет — настроение неподходящее, ни к чему, — между двумя приездами дяди и произошла катастрофа с романом. (Дядя, правда, не был этим огорчен — он был в восторге от своего свидания с Ахматовой — мы ездили к ней в Комарово, ездили к друзьям в Переделкино, побывали в Царском селе, в Петергофе, в Загорске — словом, впечатлений от Москвы и Ленинграда у него хватало, да он и не понимал толком, кто такой Гроссман — для нас). По-видимому, однако, этот телефонный звонок не прошел незамеченным, был где-то зафиксирован. Только этим я могу объяснить, что когда я провожала дядю на Шереметьевском аэродроме, то стала, через стеклянную стену, свидетельницей обыска, которому он подвергся. Таможенники отодвинули его в самый конец очереди и, когда он остался один, предложили ему для начала раскрыть чемоданы. В них не было почти ничего, кроме бумаг и книг. Каждую книгу трясли, бумаги пересмотрели все по листочку (а бумаг была прорва: он приехал в Москву на конгресс биохимиков из Стокгольма, с конгресса биофизиков; там и тут получил в подарок десятки оттисков, там и тут делал свои записи, исписал уйму блокнотов, и все это, в силу его характера, было в хаотическом состоянии). Предложили показать содержимое бумажника, настойчиво осведомлялись, не везет ли он каких-ни-

будь писем. Все это длилось долго, около часа, срок вылета прошел, и я уже уверена была, что дядю вообще не выпустят. Но он вышел, как всегда, спокойный, успел сказать через турникет: "Они назвались работниками Главлита..." – и его поспешно увели в самолет, который через минуту поднялся в воздух.

Никаких поручений тайных ни от меня, ни от кого, ни от Василия Семеновича у дяди не было. (Пишу это, сознавая, что здесь нечем хвастаться. Дядя не отказался бы, но никто ни о чем его не просил) .

Разумеется, инцидент в Шереметьево мог быть реакцией и на другие встречи Рабиновича в литературной среде. В таких делах никогда не бывает уверенности. Но Гроссман был убежден, что это связано с ним. Дома он выслушал меня внимательно, а потом, выйдя меня проводить, заговорил об этом снова. Он не доверял своей квартире. Впоследствии и мне пришлось узнать это чувство, мерзкое чувство недоверия к своему дому, к потолку, к люстре, к телефонному аппарату, к вентиляционной решетке в кухне... Мы бродили с Василием Семеновичем вокруг его дома на Беговой. Мне было нечего добавить. Не скрою, мы оба чувствовали тошнотворный страх, по спине шел знакомый холодок – близость беды, близость того, от чего хочется быть подальше... А беда пришла не оттуда. Гроссмана подстерегал рак, уже знакомый нам по Пастернаку рак затравленных.

Между прочим, после этого инцидента отношение Василия Семеновича к моему дяде, с которым он так и не познакомился, изменилось. Он стал говорить о нем с раздражением и даже с негодованием. "Дурак ваш дядя, – говорил он, наслаждаясь моим огорчением. – Идиот. Как он может ве-

рить нашим? Зачем он с ними связывается? Ах, он этого не понимает? Вот я и говорю, что он идиот". Я огорчалась до слез, но будучи отходчивой, к следующей встрече забывала это. Гроссман приветливо спрашивал: "Ну, что пишет дядя?" Это он так начинал разговор, обманывая меня добродушным тоном. Я доверчиво излагала содержание дядиного очередного письма. "Да уж, кто на свете настоящий дурак, то это ваш дядя. Все, значит, надеется, что он наших миролюбию научит! Нашел с кем якшаться!" Что бы я ни говорила, все оказывалось к худшему в этом споре. Если он не дурак, а все понимает, – значит он подлец, потому что политики все подлецы. Если он понимает, но не все, то выходит опять-таки отчасти подлец, а отчасти дурак. И долго он мучил меня дядей, колол им, травил. "Идиот!" – говорил он снова и снова, покачивая головой, как будто только что, сейчас понял это впервые и впервые высказал словами.

Да, он любил подразнить, помучить, но он же и защищал вас – внутренне защищал, всей силой своей личности и своих убеждений, создавая вам чувство охраны, чувство свободы, чувство верности. Я всегда это сознавала и всегда высоко ценила.

Есть области литературы, где играют роль другие писательские качества – скажем, чувство юмора или богатое воображение. Гроссман был продолжателем той литературной традиции, где писателем движет страсть к правде и справедливости. Как правило, все его литературные оценки были лишены всякого пристрастия к изяществу формы, к чистому артистизму. Прочитав рассказ Э.Казакевича "При свете дня", он сказал: "Все тут неправильно", – и мрачно насу-

пился. Правильно-неправильно, правда-неправда – вот были его мерки.

В этой, так развитой русскими классиками традиции личность самого писателя столь же важна, как и написанное им. Личность Гроссмана оказалась достойной того, что он написал. Постоянный, напряженный интерес к высшим духовным ценностям питал его ум и помогал его стойкости. Его моральные убеждения были чрезвычайно ясными, и он никогда не запутывал их для себя. Как это редко теперь! Ведь полвека советских людей учили "диалектике", приучали, что любую идею можно приспособить, подогнать, рассмотреть и так и эдак, долбили, что истина-де конкретна. Если Гроссман был противником смертной казни, как и подобает гуманисту, то он был в самом деле против смертной казни, – и вообще, и в частности, и теоретически, и практически. Как-то я передала ему один разговор мой с соседом по Аэропорту, писателем для детей. В "Неделе" был напечатан очерк о крупном взяточнике, подлеце, конечно, первейшем, но меня поразило, что приговорен он был, как в средние века, к смертной казни. За деньги – к смерти? Когда я поделилась своим возмущением с "детским писателем", он мне ответил: "Ну, этих мне не жалко". Что значит – этих? Один решает, что не люди – эти, другой решает, что не люди – другие, других будет считать этими, и нелюдьми становятся все. Василий Семенович, когда я передала ему "этих мне не жалко", воскликнул: "Детский писатель! Боже мой, это говорит детский писатель!" И потом этого имени слышать не хотел. Я даже жалела его, ведь не людей губить он хотел, – просто привык говорить, как здесь привыкли, не отдавал себе отчета.

Один университетский профессор рассказал мне такой эпизод. В перерыве между лекциями к нему подошла студентка и спросила его, как он относится к расстрелу царской семьи. Профессор растерялся и сказал, что это не относится к тому курсу русской истории, который он читает. Но потом ему стало неприятно. На следующей лекции он сам подозвал студентку и сказал ей: "Как бы ни относиться к расстрелу царя и царицы, но оправдать казнь детей невозможно ничем". Наконец-то жители нашей страны стали думать! В моей юности вряд ли студентка задала бы такой вопрос. Еще недавно все думали, как детский писатель – "этих не жалко".

И – еще за несколько лет до этого – помню, в каком Гроссман был негодовании, когда Хрущев, дав закону обратную силу, приговорил (не он, разумеется, приговорил, но всем было известно, что по его личному пожеланию это было сделано) к смертной казни двух спекулянтов валютой – Рокотова и Файбишенко. "Какая жестокость дикая. Зачем, скажите, ему была нужна кровь этих двух мальчишек? Говорят, когда им объявили приговор – по пятнадцать, кажется, лет – они тут же на скамье подсудимых стали обниматься, ликовали. Это и взбесило Хрущева..."

Много можно было бы рассказать об интересе Гроссмана к разным событиям дня и нашего прошлого. Я не стану этого делать, так как хочу подчеркнуть лишь главное, его последовательность в понимании добра и зла.

Гроссман знал горя много, больше, чем другие люди, потому что по свойству своего таланта и своей души он чужое горе знал как свое. Это укрепило его природное равнодушие к бытовому устройству. Он жил среди старых некра-

сивых вещей – общарпанный конторский какой-то диван, старомодные книжные полки. Но в комнате всегда было много растений в горшках, ракушек, кораллов, камней, собранных в Коктебеле. Про одного нашего общего знакомого, вполне симпатичного ему, он сказал: "Х. будет ходить по антикварным магазинам, выискивать, высматривать какой-нибудь старинный стул. Найдет, кинется одалживать деньги, ведь дома денег нет. Привезет, вызовет обойщика, краснодеревщика. Будет долго подбирать подходящую ткань для обивки, обсуждать ее с мастерами, с друзьями-знатоками. Наконец, все будет сделано lege artis. И это только для того, чтобы поставить и сказать: "Стул". Он раздраженно приподнял стоявший перед ним дешевый стул и со стуком опустил его на пол. А когда литераторы переехали в новые дома у Аэропорта (он получил однокомнатную квартиру), когда все бегали друг к другу, осматривая занавески и мебель, Василий Семенович спросил меня: "Не знаете, у кого здесь есть хорошие библиотеки?" Меня он охотно приглашал к себе, но ко мне не пошел, сколько я ни звала, – обстановка моей квартиры, мой быт были ему совершенно безразличны, даже один раз посмотреть не захотелось, – а жили мы в его последние годы в домах напротив, окна в окна. Однажды я неосторожно сказала, что видела его в окне. Он рассердился: "Если вы будете глазеть мне в окна, я ограничу вас наружным наблюдением". А сам говаривал мне, к примеру, так: "Смотрел я на ваши окна, занавески задернуты. Думаю – дома ее нет или у нее любовник?" Да это еще самое невинное из того, что люди от него выслушивали. Но почему-то я это очень слабо помню, если и припоминаю, то без всякой обиды. А всегда помню начало

нашего знакомства. Во время войны, в эвакуации, в уральской деревушке, каким счастьем для четырнадцатилетней девочки было получить такое письмо:

"Здравствуйте, Наташа,
Вам пишет друг Вашего отца – Гроссман. Меня очень беспокоит Ваша судьба и устройство. Прошу Вас помнить, что я всегда буду рад помочь Вам, когда это нужно будет Вам. Поэтому прошу без всякого стеснения обращаться ко мне, если Вам понадобится помощь и поддержка... Я завтра уезжаю на фронт, вернусь в Москву через 1 1/2 месяца. Буду очень рад получить письмо от Вас".

Но еще и через три месяца Гроссман был на самом что ни на есть фронте, и оттуда нашел время написать мне снова, спрашивая: "Напишите о своем житье, как Вам живется материально? Буду рад получить снова весточку от Вас. Напишите о занятиях, что читаете. Может быть, нужны Вам какие-либо книги или иные предметы, менее возвышенные? Пожалуйста, не стесняйтесь".

Мне мучительно дороги эти угловатые, совсем не литературные строчки! Я храню их в одном конверте с фронтовыми письмами отца. Как видно из этих строк, что он совсем не любил себя, не рисовался перед девочкой ни своей добротой, ни своим писательством (а сколько значило в те годы его писательское имя для всех читавших газеты!), ни тем, что мог погибнуть запросто, не получив еще ответа.

У моего отца было немало друзей, но только Гроссман вспомнил, что у него осталась дочь – сирота. Мама моя умерла до войны, а папа считался тогда пропавшим без вес-

ти; я-то еще верила в его возвращение, все читала ''Жди меня'', Гроссман же, конечно, понимал, что это значит. (Кстати, будучи дочерью пропавшего без вести московского ополченца, я не получала ни пенсии, ни пайка, ничего, так что Гроссман не зря беспокоился). Впоследствии Гроссман написал прекрасный очерк о моем отце (''Памяти Роскина''), который не был напечатан, формально по той же причине, что и его роман – ''мрачно''. Еще бы – немолодого человека, безоружного и необученного, бросили под танки Гудериана. Далась им, ей-богу, эта мрачность! Все бы плясать да веселиться!

Глава четвертая

Н.Я.БЕРКОВСКИЙ

С ранних своих лет, с однотомника Э.-Т.-А.Гофмана, где Берковский был автором предисловия, я считала его одним из самых умных и образованных людей в литературной среде. И встретив его в Доме творчества в Комарове, зимой 1967 года, я очень обрадовалась. Моя фамилия – по отцу – тоже что-то сказала ему, и однажды он подошел – подплыл – к столу, где сидели мы с дочкой, положил руки нам на плечи и сказал: "Наташа и Ира, я приглашаю вас сегодня ко мне в гости". Какая радость была среди комаровской скуки, среди любимых тамошних бесед о том, кто лучше, москвичи или ленинградцы! Маленького роста, грузный Берковский отплыл к себе, а мы с Ирой радостно бросились переодеваться, надели на себя все самое лучшее, – это дало впоследствии повод Берковскому написать мне в письме, что следует лучше одевать себя и дочь. Оказывается, на наших модных жакетах были золотые пуговицы, а он этого не признавал, не терпел он также, чтобы женщины носили очки и готов был сорвать их с носа. Все это показалось нам ужасной чепухой, и моя Ира, тогда студентка второго курса

романо-германского отделения и поклонница трудов Берковского, сказала мне: "Вот, мама, я тебе всегда говорила, что профессоров надо читать, книги их штудировать, а ты надеешься легким способом узнать все из беседы с ними. Ну, и терпишь разочарования".

Нет, Берковского надо было знать. Он был крупным филологом, но в жизни он был гением, именно гением. Что я под этим понимаю? Один физик, поясняя мне характер гениальности А.Д.Сахарова, сказал, что он видит, чувствует плазму. По совпадению, вскоре я прочла у Надежды Мандельштам, что Осип Мандельштам чувствовал внутреннюю форму слова. Таким был и Берковский. Ясно, ярко и живописно видел он внутреннюю суть вещей. Ежеминутное ощущение присутствия какого-то второго, главного мира – вот его гениальность. Когда это чувство почему-то снижалось в нем, угасало, – он терял вкус к жизни, становилось неинтересно.

Счастливейшим свойством его личности был этот вечный пир ума и праздник духа, с какой-то раблезианской радостью он находил и поглощал духовную пищу. Расскажешь ему, бывало, какую-нибудь нашу советскую гадость, – у такого-то обыск был, такого-то посадили, – он омрачится, спросит: не дать ли денег, чем же помочь, – а потом вернется к музыке, забудется и просияет. Когда я с ним познакомилась, он перенес уже два инфаркта и мучился тяжелейшей астмой. И астму он забывал за музыкой и чтением, а также за изложением впечатлений своих на бумаге. Вот как он описал в письме ко мне один концерт:

"Вчера я был на Караяне и совсем очарован личностью его, – Караяна нужно непременно видеть, как великого

актера. Он совершенно обольстителен, седой, с кошачьим лицом, с удивительной гибкостью всего тела, с удивительной жизнью рук. Впечатление от него то, что это кудесник кошачьего происхождения, если еще не лучше. Моцарта он исполняет, прикрыв глаза, с блаженнейшей улыбкой, с осветленным лицом. Кажется, что он вспоминает эту музыку, может быть приснившуюся, может быть когда-то кем-то сочиненную на самом деле. Моцарт, как счастливое несбыточное сновидение, ведь это и есть современный, для нас Моцарт. Мы слишком пали, чтобы допускать Моцарта взаправду. У Караяна для Моцарта были и плывущие руки, одна никла, другая гребла сильнее, он плыл и проплывал по стране сновидцев. Иногда одну руку он клал на сердце – объяснение оркестру, что это такое они сейчас играют, к чему приблизились.

А к Шостаковичу он вышел совсем иным. Как будто засучил рукава и приступил с оркестром к тяжелой и мрачной работе Десятой Симфонии. Тут и сны, и улыбки, и покойное покачивание сразу же кончились. Я когда-то был на премьере Десятой, а теперь услышал ее тем не менее впервые. Она – огромный тюремный замок, откуда несутся крики заживо распиливаемых людей и на задворках которого все-таки иногда танцуют, – есть такие, кому при всем при том танцуется".

Письма писать он обожал, – сидит, бывало, макает перо в чернильницу: новых способов писания он не признавал и наслаждался кляксами, другой раз нарочно размазывал их по бумаге, видя в них истинную магию писательства. Из его чернильницы, как у Гофмана, выскакивали черные коты с огненными глазами.

В его день рождения я попросила своего ленинградского родственника отнести ему букет роз. Берковский написал мне: ”В мой день рожденья Ваши розы звенели из своего кувшина звонче всех других цветов, ко мне пожаловавших в гости. Я собирался ничего не отмечать и все-таки к вечеру набралось народу, кто-то принес какой-то неимоверно жирный торт, на который розы Ваши поглядывали с сожалением, – не то, не то. Розам подобало бы какое-нибудь легкое-прелегкое мороженое, какого даже не бывает, – сквозными длинными иглами, – и питье чего-нибудь очень холодного из длинных узких рюмок”.

Я привожу цитаты из писем, потому что записать его речи было невозможно: речи его были именно речи, как жанр, и если бы он хотел это написать, то получилось бы совсем другое. Приведу только некоторые его мысли, особенно мне симпатичные:

Русская поэзия существует от Тредиаковского до ”Столбцов” Заболоцкого.

Заболоцкому начали подражать до того еще, как его стали печатать. Я помню, как Гитович показывал мне свои стихи, а потом оказалось, что это просто подражание Заболоцкому.

Анне Андреевне хотелось, чтобы я о ней написал. Ей нравилась моя статья о прозе Мандельштама. Но то, что я мог бы написать о ней, ей бы не понравилось. Я любил ее гораздо больше, чем ее стихи.

Со смертью Анны Андреевны я потерял своего лучшего собеседника. Есть вещи, которые я мог сказать только ей...

Паустовский ценен тем, что он прокладывал дорогу идеалистическому пониманию жизни.

Стихотворение Тютчева: вот в этом и заключается искусство: чтобы всю жизнь влить в это узкое горлышко...

Вот почему Тютчева так любили женщины: потому что для него, как и для женщины, любовь могла быть всем.

Чехов любил все, что кончается...

У Х. нет никакого таланта, он просто умеет передразнивать, а называется художественный перевод. Не поэтический талант, а обезьяний. Такая шимпанзе с немецкого и английского...

Я всегда готов выслушать интересную сплетню, но я не люблю рассказов, в которых унижается человек, человеческое. Тогда я сам себя чувствую униженным.

Я не мог бы не влюбиться в певицу, вообще в женщину с красивым голосом. Голос идет из глубины существа, и если он красив, не может быть, чтобы женщина не была прекрасна.

В периоде разочарования сохраняется что-то от периода очарования.

Когда мы пишем, то виден синтаксис, мы прошиваем слова шилом, дратвой, а у Хлебникова слова сами прислонялись друг к другу и держались какими-то воздушными связями...

Лучшие мысли рождаются из того, что где-то что-то мерещится...

Цельные же речи Берковского невосстановимы оттого, что в них он участвовал весь – каким-то погружением во все, о чем он говорил, соучастием, игрой. Выправлялось и его физическое самочувствие, болезнь отступала, на лице его появлялось счастливое выражение отвлеченности. Так он рассказывал мне о древнем Риме, о том, как римляне поглощали греческую культуру, одновременно презирая греков, о том, как жилось в Риме рабам, – и я чувствовала, как в нем бушевал и грек и римлянин, и плебей и патриций одновременно.

Многие знакомые Берковского считали его монологистом, то есть человеком, не умеющим слушать других. Да, заинтересовать его своим рассказом было не так-то легко. Поначалу я была поражена, как он внимательно меня слушал, но это время пролетело быстро, – он со мной знакомился и отвел мне для знакомства какой-то объем своего внимания. А уж потом – если мне хотелось заставить его что-то выслушать, я должна была прибегать к хитростям. Как жук-притворяшка в виду опасности падает на спину и держит лапки кверху, притворяясь мертвым, так и Наум Яковлевич говорил, что ему хочется спать, что начинается приступ астмы, что надо позвонить по телефону.

А иногда его восприимчивость была обостренной, и он из какой-нибудь моей шутки мог сделать целое пиршество смеха. Когда я сказала, что Щедрина хорошо не читать, а только посыпать им других писателей, он радовался этому весь вечер. И все смотрел на меня, ожидая, – вот-вот я ска-

жу еще что-нибудь такое же остроумное. Он даже подталкивал меня: ”Ну, Наташа! Ну, Наташа!” И не дождавшись, готов был навсегда во мне разочароваться.

Люди вообще быстро надоедали ему, а его нежность к животным была неиссякаема, зверье не надоедало ему никогда. Если он хотел удостоить человека высочайшей своей похвалы, то он приписывал ему, как Караяну, кошачье происхождение. А чтобы поддерживать длительные хорошие отношения с Берковским, нужно было обладать некоторыми качествами собаки: преданность, безотказность, способность на обиду не отвечать обидой. Когда Берковские собирались куда-нибудь уходить, грустный вид собаки не давал им покоя. ”Ах, боже мой, он уже чувствует, что его не возьмут”, – вздыхал Берковский, и Ярчика брали. Так однажды и я стала делать грустный вид, когда Берковский собирался идти в свой институт читать лекцию. Лекции его славились в Ленинграде, на них сбегались не только студенты других курсов и факультетов, но и толпы посторонних людей. Что привлекало их? Я думаю – свобода. Берковский никогда не стремился уснастить свои лекции сугубо современными аллюзиями, не дорожил крупицами крамолы, которые, под видом исследования старины, вносят в свои лекции искатели популярности. Просто сам он всегда ощущал себя свободным человеком, а это ведь, в сущности, все. Когда вышла книга Берковского ”Литература и театр”, я попыталась напечатать рецензию на нее в ”Литературной газете”. Прочтя мою фразу, что у Берковского ”свободная мысль находит свободное выражение”, редактор отдела, человек интеллигентный и тонкий, расхохотался: ”Вы думаете, что такая фраза может быть напечатана в нашем органе?

Ну, Наташа, вы просто из лесу вышли! Дикий человек! Дикобраз вышел из лесу!" И долго он смеялся и потешался над одним лишь предположением, что слово "свобода" – в печати!

Да, свобода Берковского была пушкинской свободой – "Из Пиндемонти":

По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья...

Но все-таки, как человек наших дней, он никогда не сказал бы, что ему мало горя, свободно ли печать морочит олухов... Слишком много морочили его самого. Молодость свою он провел победительно. Хотя его перу принадлежит одна из самых интересных статей о прозе Мандельштама, статья эта явно вышла из лагеря апологетов пролетарской литературы. В одном из напечатанных писем Пастернака к Сергею Спасскому есть купюра. Цензурному вычерку подверглась фраза Пастернака, начинающаяся словами: "До тех пор, пока пролетариат будет рассматривать нас, как плоды своей победы..." Берковский отнюдь не принадлежал тогда к плодам победы, он вкушал их, однако скоро ему дали понять, что в нем не нуждаются, и он вынужденно молчал почти двадцать лет. Молчал – как литератор, но зато жил и думал, как хотел. В лекциях его каким-то чудом стесняли мало. Одному курсу, например, он весь год читал о немецком романтизме, а так как называлось это "западная литература девятнадцатого века", он в конце рекомендовал сту-

дентам к экзамену прочесть несколько книжонок. Студенты увлеклись Ленау и Гельдерлином и не успели узнать про Бальзака и Диккенса, но это мало беспокоило Берковского. Следуя своим собственным законам, прихотливым течениям своей мысли, он обращался к векам, странам, идеям. Как маленький бог-творец, помогая себе движениями своих артистических рук, он переставлял, сопоставлял и снова возвращал на место все, что ему хотелось. Читая при мне лекцию об озерной школе, он, в связи с Кольриджем, вспомнил Заболоцкого – пантеистическую и сократическую идею равенства всего живого.

У Берковского было множество учеников, которым он написал диссертации, иногда чуть ли не от слова до слова. Просто – усаживал их рядом и диктовал. Или приглашал на какую-нибудь свою лекцию, советовал записывать подробно и прямо говорил: вот и будет диссертация у вас. Это он рассказывал мне, признаваясь, что не знает никакого способа учить, что аспирантское творчество ему глубоко безразлично. И вместе с тем, он был истинным учителем. При нем не стыдно было чего-то не знать, и он все мог объяснить, – вот самочувствие ученика Берковского, которым и я себя ощущаю, хотя, если бы я состоялась как литературовед, то принадлежала бы к совсем иной школе, более строгой, точной и конкретной, не столь романтической и своевольной.

С такой же щедростью, как и свои мысли, Берковский раздаривал книги. Он ездил в книжную лавку писателей и покупал по два-три экземпляра каждой интересующей его книги. К моему приезду у него, как в погребке, было припасено что-то свежее, еще никому недоступное. У меня стоит

целая полочка его подарков – я ставила их вместе, рядом. Тут "Психология искусства" Выготского, "О прозе" Эйхенбаума, "Иосиф и его братья" Томаса Манна...

Как в Комарове принято спорить о сравнительных достоинствах москвичей и ленинградцев, так в науке столь же распространен и бесплоден спор о том, кто ученый, а кто не ученый. Берковский не считал, и вероятно, взаимно, всех на свете за ученых. Его презрение к ним возрастало по мере их возвышения по академической лестнице. Он очень хвалил работу моей знакомой, и я необдуманно ему поддакнула: мол, да, это будет ее докторская диссертация. После этого он говорил только та̀к: "Мне понравилась ее работа, но я уже разочаровался, потому что Наташа говорит, что она собирается сделать докторскую диссертацию". Сколько я ни твердила, что совсем не то имела в виду, репутация этой женщины была в его глазах безнадежно испорчена, и мои покаяния не помогли. Над академиками он всегда смеялся. "Все, что написал Конрад – это папа-мама". "Восток – Запад, мама – папа". Он неудержимо веселился, подвергая сомнению ученые репутации, он терпеть не мог современные комментированные издания классиков, он ядовито высмеивал как традиционные методы, так и структурализм.

Вернувшись из Ленинграда, где я выслушала от него полный разгром всех моих представлений, я – в ответ на свои сетования – получила письмо: "Неужели Вы искренно жалуетесь на мои отзывы о литературоведах? Ни за что не поверю, чтобы Вы близко к сердцу принимали все эти репутации. Кстати, Вы мне приписываете слишком много разгромов. О сочинениях Макашина ничего Вам не мог говорить, ибо не читал из него ни строки! Предлагаю Вам версию,

которая может Вас устроить. Считайте все мои отзывы за черную ревность, желание растолкать всех божат, которыми Вы уставили свою молельню и где я желал бы быть единственным божком. Что Вы на это скажете? Должно быть, так оно и есть".

Все сколько-нибудь сковывающее – будь то звание или школа – было ему противопоказано.

"Не пишите обо мне мемуаров и уж во всяком случае не показывайте их мне, – писал он в письме. – Я считаю, что всякие мемуары – это накликание беды и смерти. У всех народов шло за злое колдовство, если очерчивали чью-либо живую тень или вынимали следы. Я желаю существовать в своей живой неопределенности неописанным и необъясненным. Вы мне передавали, что Е. назвал меня "представителем романтического литературоведения". Я почувствовал в этом нечто сугубо неприятное, и не потому, чтобы в этом содержалась какая-либо недружественность. Это плохо лишь тем, что это определение, – я говорю "лишь" и добавлю, – и гораздо хуже, чем "лишь". Невозможно жить под определением – под приговором. Итак, будьте великодушны и оставьте меня на воле, не заключайте меня в формулы и не приставляйте ко мне эпитетов".

(Сам-то он, конечно, на эпитеты не скупился, – но очень не любил, когда что-то повторялось, передавалось из уст в уста, не только потому, что далеко не беззлобные высказывания чаще всего достигали ушей хулимого, но и потому, что назавтра, в другом настроении и под другим впечатлением, он мог сказать совсем другое и от всей души порадоваться удобствам, которые приносит незлобивость).

Такое романтическое отношение ко всему странно ужи-

валось в нем (а может быть, и не странно, а естественно) с увлечением военным делом. В детстве он командовал армиями, обожал парады, погоны, знал по именам и отчествам всех генералов русской армии, читал книги только по истории войн. Когда он входил в аудиторию, где человек сто пятьдесят шумно встали при его появлении, я поняла, что в душе он часто чувствует себя главнокомандующим, вождем своего племени. Возможно, что эти неутоленные честолюбивые страсти рождали его деспотизм в семье и в дружбе.

Ему хотелось, чтобы я вызвала такси, а я предпочитала уехать на трамвае, и этого было достаточно, чтобы, выбежав за мной на лестницу, он закричал: "Убирайтесь к дьяволу!" На просторной ленинградской лестнице его великолепный голос прозвучал как в опере, да и в слове "дьявол" было что-то оперное, нерусское; я позвонила ему, как только доехала, и он очень обрадовался и признался, что пьет валокордин. Бог знает что он способен был сказать посреди уютного чаепития, если на него находил стих. Вдруг он при всех спросил меня: "Неужели ваш отец не мог найти вам имя поинтереснее? Наташа, Наташа, всех зовут наташами". Я не умела сносить такие вещи безропотно и всегда отвечала дерзостями: "Ну, а ваш отец разве дал вам такое уж прекрасное имя – Наум!" – "Да, но мой отец не был литератором!" – "Да, но Лев Толстой был литератором, и не побрезговал дать это имя своей любимой героине". Подобные дурацкие наши перепалки происходили в присутствии жены Берковского Елены Александровны Лопыревой, воспитанной, вежливой, умной и остроумной женщины.* Елена

---

* Остроумие Елены Александровны:

Александровна преклонялась перед своим мужем, и их сын Андрей говорил мне, что никогда в жизни не слышал, чтобы его мама так дерзко говорила с папой, как я. Она была проницательна, отнюдь не менее проницательна, чем сам Берковский, и вся я была ей видна как на ладони, однако это меня не тяготило. В трудные минуты она часто приходила мне на помощь и мирила нас, – по мере возможности, так как влиять на Берковского было трудно. Иногда он обижался прямо смехотворно, на вещи, которые, казалось бы, не могут быть обидны. На меня, например, он обиделся за то, что я его не считала чеховедом ("Я написал три статьи о Чехове, вы не написали ни одной", – кричал он...). Я считала его богом, гением, великим гуманистом, крупнейшим мыслителем, но ему было нужно, чтобы я считала его чеховедом. Польстить ему было так же легко, как и обидеть его. "Он подкупил меня тем, что сказал обо мне..." Я перебила:

(к стр. 742)

В комаровском саду прыгали белки. Она говорила, что очень неловко чувствует себя среди них в беличьей шубе: "Я надеюсь, что они думают, будто мех искусственный".

Моей дочке она предложила надеть теплый жакет, Ира отвечала, что ей не холодно. Она предложила Ире зайти в уборную, Ира сказала – обойдусь. Она воскликнула: "Ты вся какая-то абстрактная!"

Их сын Андрей ремонтировал машину и сразу же снова ее разбил. Елена Александровна определила это так: "Андрей получил второй срок".

Однажды в ответ на какие-то раздраженные реплики Берковского я сказала: "Ну, знаете, чтобы такие вещи говорить, не надо быть профессором". Лиля примирительно заметила: "Уже поздно, он устал, считайте его доцентом".

"Да, вы не Робеспьер!"* Эта шутка была у нас модной. Но долго удержаться на одном и том же не удавалось. Ему надоедало, например, что я восхищалась его умом, и он написал мне: "Ум, ум, – это очень сомнительная реклама. Никто не любит мысли, никто, усвойте же это. Что угодно предпочтут мысли, и с ней мирятся только в случае несомненной ее утилитарности. Да и сам я тоже не поклонник мысли как таковой, и отчасти сочувствую даже самым вульгарным мыслефобам. В себе, как хотите, я предпочел бы находить другие свойства кроме голой мысли..." Здесь звучит даже какое-то простодушие, правда? И в самом деле, он был простодушен и доверчив, чем и пользовалась постоянно Елена Александровна, обводя его вокруг пальца, разумеется, для его же пользы и успокоения. С ее помощью и я научилась некоторым нехитрым уловкам, благодаря которым мне удавалось удерживать Берковского в хорошем настроении и не ссориться с ним. Это было мне трудно. Берковский же требовал полного подчинения, полного согласия с собой, ему был нужен весь человек. Когда я приезжала к нему погостить в Ленинград, то скрывала это даже от своих родственников, так как знала, что и мне не захочется от него уходить, и он меня не отпустит. Так, инкогнито, я частенько прилетала на несколько дней.

Первый день или два всегда бывали счастливыми, но потом он привыкал к моему обществу и сердился на меня, как на своих. Если его вспышка оставалась без ответа, то уже через несколько минут он начинал о ней жалеть. Если же

---

* У Робеспьера было прозвище «Incorruptible» (Неподкупный).

он встречал отпор, ответную резкость, то примирение затруднялось и откладывалось. ''Вы противная, вы очень противная, – сказал он мне однажды, когда я не проявила терпения. – Для вас главное – это личная сатисфакция''. Поводы для ссор были весьма разнообразны, и далеко не всегда они были сколько-нибудь уважаемыми, однако я уважаю те случаи его гнева, когда он считал, что я сказала глупость или пошлость. Однажды я улетала из Ленинграда, и Наум Яковлевич с Еленой Александровной поехали провожать меня на аэродром. Сидя на переднем сиденье такси, Берковский рассказывал мне новые американские версии жизни Христа. ''Есть даже такая версия, что Христос родился...'' – ''В Бердичеве'', – досказала я репликой из чеховских ''Трех сестер'', о венчании Бальзака. Собственно говоря, я и сейчас не вижу в этой шутке ничего неприличного, однако Берковский усмотрел в ней неуважение к Христу и пришел в такое бешенство, что перестал со мной разговаривать, не захотел выйти из машины на аэродроме и едва попрощался, говоря: ''Лиля, нам некогда, я очень спешу''. Расстроенная Лиля поцеловала меня, машина уехала, я осталась одна на холодном аэродроме. До самолета было еще больше получаса. Я поняла, что не могу так расстаться с ним, поменяла билет на вечерний самолет и поехала в город. Лиля была очень тронута этим поступком, Берковский же встретил меня холодно и неприступно. Лиля рассказала, что когда она попыталась что-то сказать про меня жалостное, он оборвал ее: ''А пусть не говорит пошлостей''. За день он отошел, мы вместе пообедали, и я уехала – уже без всякой помпы, без проводов, без такси. Лиля насовала мне двухкопеечных монеток, чтобы я позвонила ей, добравшись до

аэродрома. Первые слова Берковского, когда он взял трубку, были: "Наташенька, простите мне мои художества!"

Долго потом он не отвечал на мой вопрос, где же, по американской версии, родился Христос, но потом выяснилось, что во-первых, не где, а когда, во-вторых – ответ заведомо нелеп: уже в начале нашей эры. И вот из-за этого было столько волнений!

С христианством Берковский вообще был в каких-то сложных отношениях. Не мне хоть в какой-то мере оценить путь, который он прошел от рапповских, "напостовских" статей к глубоким интересам – историко-философским и теоретико-литературным. Он начинал как критик, которого боялись, а кончил тем, что сам боялся экскурсов в свое критическое прошлое, – путь очищающий. Его литературная старость была куда богаче и интереснее, чем молодость, а разве это не счастье?

Однажды я спросила его, почему религиозное христианское сознание так мало влияет на личность человека, почему верующий может оставаться злым, эгоистичным, а неверующий – бессознательно жить по православным канонам. Он объяснил мне, что в девятнадцатом веке – с Достоевским – кончилось то течение в христианстве, которое видело смысл его в отношении к ближнему, в общении с Христом через добро. После Владимира Соловьева началось христианство, как спасение собственной души, как проблема личного бессмертия. Упрощенно говоря, христианство может быть источником и крайнего альтруизма, и крайнего эгоизма.

Я думаю, что Берковский вмещал в себе и крайний эгоизм, и крайний альтруизм. Как большинство людей, живущих мощной духовной деятельностью, он был нетерпим

и адски труден. У Берковских часто цитировалось мое письмо, которое я послала Елене Александровне, вернувшись из Ленинграда: "Держитесь, Лилечка! Около великих гуманистов выживают только сильнейшие!" Но мир его был широк, и каждый, кто хотел любить его, мог найти себе место в этом мире. Скучно без него!

*

* *

"Всю ночь шел дождь, все выглядит мокрым и непогребенным, за окном качаются травы, слышны голоса экскурсантов, наползающих вопреки всему. Я десять дней после двух жестоких приступов, – одного жесточайшего, – почти не выходил, сидел дома и штудировал Romances Шекспира, – Цимбеллин, Зимняя сказка, – которыми опять восхищался. Это наиболее приближенный к романтикам Шекспир, любимый ими + еще "Сон в летнюю ночь". Летние ночи, летние ночи, – грустно чрезвычайно, что уже уходят они, так с нами и не побывши. Ходит ко мне сестричка с утренними уколами – с альбами по имени кокарбоксилаза", – так писал мне Берковский из любимого им Царского. Великий интерпретатор, он даже лекарство превратил в утреннюю песнь. Он отворачивался от нашей смертности и жил с постоянным ощущением праздника жизни. Близость смерти лишь усиливала в нем это ощущение праздника, и искусство звенело в нем с прежней силой.

Уходят летние ночи... Мне вспоминается древнее, и я думаю, что летние ночи стоят, как стоит Время, – это уходим мы.

СОДЕРЖАНИЕ

Joseph FLOCH, Maître-Imprimeur à Mayenne 7 -3 -1980 , n°7080